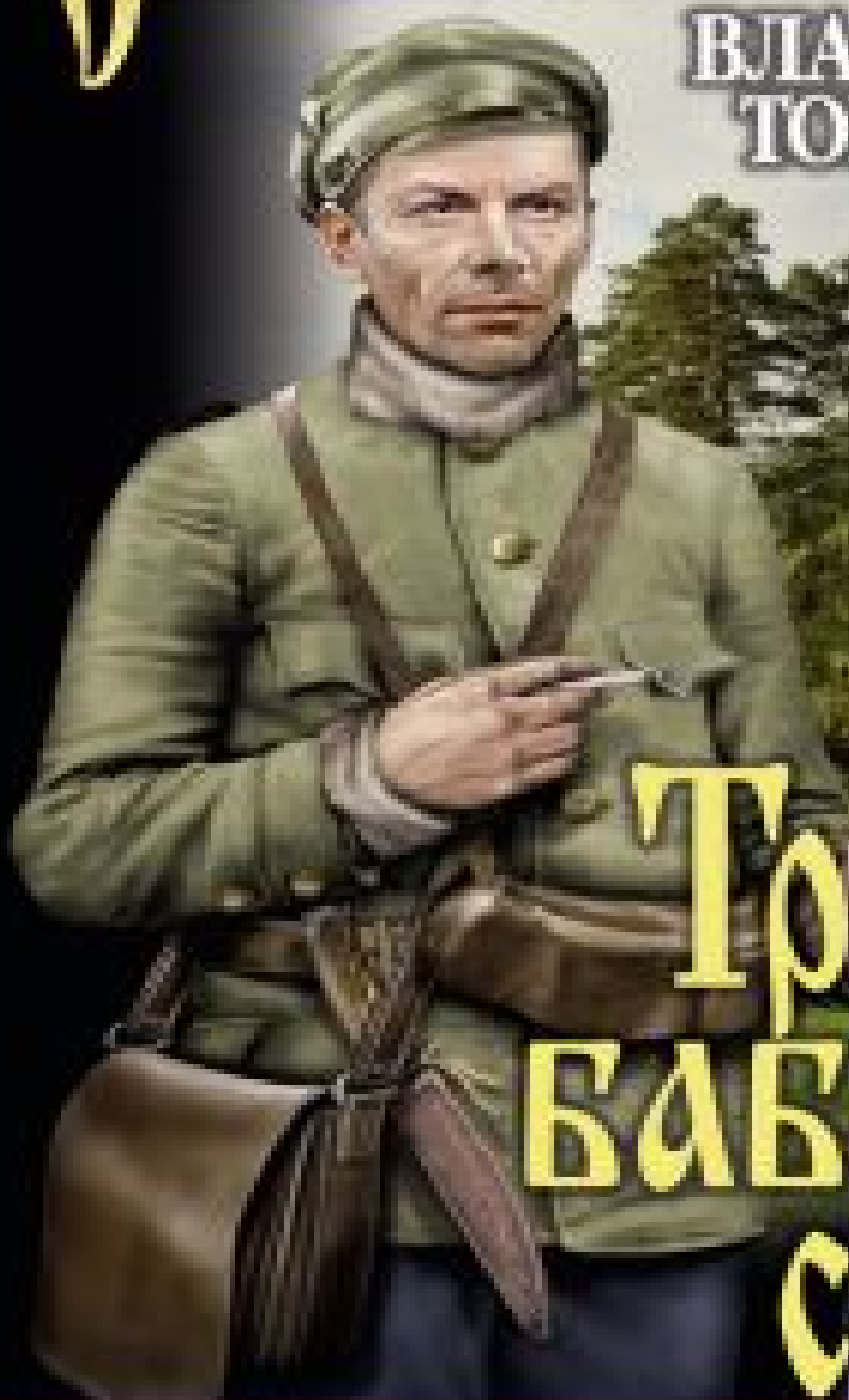


ОИЪИРИАДА

ВЛАДИМИР
ТОШШИН

Тропа
бабьих
слез



Андрей Реутов – Траектории слез

Роман /книга сновидений/

От редактора: Роман публикуется в авторской редакции.

Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщичики, и взывали каждый к своему богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее; Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул.

Иона

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

... И в один из дней сентября, прозрачный и тихий, с сомнамбулическими траекториями воздушных струй -- молодое вино было разлито в бутылки. В каменистой и скудной земле сада была вырыта яма и пребывала отверстой под перистыми облаками субботнего полдня. Все полтора десятка бутылок, закупоренные пробками, стояли на круглом столе, вытащенном из дома, и на пробки падали горящие капли полиэтилена. Падали, гасли и застывали. И, наконец, бутылки были положены в землю, и последней в ряду я уложил бутылку из черного стекла, мгновение полюбовавшись ею, подумав, сколько бы ей лет могло быть. И вино погребли до будущего.

Но сделав все это, мы вчетвером (я, Тимоха, и Гоша с новой своей знакомой -- Галиной, которую я и Тимоха в тот день увидели впервые) не торопились уносить в дом табуреты и стол с порожним бидоном, а оставались здесь, слушая музыку, испаряющуюся из динамика в окне дома, и, словно по очередности, слабо чему-то улыбаясь.

И отсюда, с вершины холма, мир казался стоящим на наклонной плоскости. И медленно соскальзывал вниз, в море, -- современный город с допотопными трамваями, с темным пятном старого квартала, с замшелыми, неуклонно разрушающимися от соленых туманов статуями и конными памятниками. Скользили вниз желтые и красные

купы деревьев, качающиеся от низового ветра, и колокольня собора, и вон тот, словно игрушечный, пригородный поезд, и редкие деревянные дома, наподобие этого, разбредшиеся по поросшим кустарником базальтовым холмам города вместе со своими нищенскими садами. В заливе покачивался рыбацкий сейнер, да зиждилась угольная баржа, да исчезал из виду военный корабль, сливаясь с остро отточенным горизонтом, над которым тянулась бледная, зеленовато-аквамариновая полоска пустоты.

В течение какого-то времени мы сидели, не говоря, не закуривая, почти не шевелясь, и своей неподвижностью создавая сиюминутный центр мимолетного мира. И смотрели, чуть улыбаясь, на горизонт, всегда находящийся на уровне глаз, с каких бы высот на него ни взглянуть...

2

Тою далекой осенью десятый класс стал учиться во вторую смену. Школа стояла на холме и с последней парты у окна Тимофею были видны редкие -- меж пустырей -- многоэтажки окраины города, факелы нефтезавода, трамвайное депо, и дальше, за всем этим -- дельта большой реки, растворяющейся в океане. Были видны мачты яхт, плененных зыбучими песками дельты. В свете заката, безоблачного, ровно-оранжевого, или когда проплывали подсвеченные кармином тучи отшумевшего днем ливня, панорама всякий раз представляла то ли хранящей в своем летаргичном спокойствии память о ком-то, то ли смутно кому-то припоминающейся... Прямо за школьными окнами клубились объятые пламенем неба дирижабли, субмарины облаков, когда урок подходил к концу, и тимохин сосед по парте, меланхоличный отличник (и известный в городе дзюдоист) Саня Антонов промолвил, положив голову на парту, глядя в законное небо:

- Кто читает книги, тот не становится императором. Конфуций.

- Ты в книжке вычитал? -- разулыбался Тимоха и тут же его лицо, как зачастую, стало удивленно-задумчивым.

- Был бы пистолет -- застрелился бы, -- сказал Санек и закрыл глаза.

«...Это из-за нее», -- подумал Тимоха. Но то было в следующий, такой же, необъятно вскипевший розовой пеной по всей прохладе небес, закат. Сбежали с урока (треть класса) и, искупавшись, стояли, покрытые гусиной кожей, на сыром песке неухоженного осеннего пляжа, -- в виду огромных школьных окон, сине пламенеющих на холме.

- Это -- Ива, -- сказал Санек. Он не был грустен. Они с Ивой, подойдя ко всем, отпили из винной бутылки, откупоренной до них и передаваемой друг другу. Минуту спустя отошли, отсторонились ото всех. К воде они бежали, держась за руки, и Саня небрежно, на бегу, попыхивал сигаретой.

Через час стало смеркаться и все разошлись, и Тимофей один подымался по холму на репетицию школьного ансамбля, и, хотя по утрам он, просыпаясь, улыбался оттого, что «сегодня -- опять репетиция», теперь же, в одиночестве, на нарастающем ветру, было скучновато думать и про свое барабанное соло и про песню с двумя текстами (один из них предназначался для исполнения, когда никого из учителей во время вечеров не будет видно в зале -- в этом тексте Тимоха, ударив по тарелке, выкрикивал в конце каждого куплета похабную фразу, сопровождаемую бурей восторга).

... Ива (кто-то из ее родителей был из Югославии) тоже когда-то училась в этой школе. В ту осень она была продавщицей в книжном магазине, в центре. Тимоха видел ее там, смуглую и смешливую, даже слегка насмешливую. Видел, как она снимала со стеллажа и подавала книги покупателю. И в магазине и на пляже Тимохе показалось, что она ждет чего-то, как будто ее вот-вот окликнут, что ли. Когда она глядела за витрину или озираала мокрый пляж и рябь моря -- глаза чуть щурились и улыбка -- не исчезая -- угасала, и рука трогала серьгу или крестик на цепочке. Это было как бы вдруг: вот она здесь, -- и уже не со всеми. И снова здесь, смеется.

Той осенью Тимоха часто заходил в книжный, но видел ее только раз.

Потом, поздней осенью, опять начали учиться в первую смену, в классе стало холодно, буднично и светло. Над городом часто сыпал

снег и таял, и капель ударялась о карниз, и на миг все озарялось солнцем, и снова наставший день был бледно-пасмурен, и снег белел только на островках дельты, над которой слой облаков обрывался и небо дальше было бесцветным, пронзительно-чистым. И еле видно чернели среди аквамарина пустого простора лишь мачты сгнивающих яхт, да иногда -- почти неподвижная (столь отдаленная) точка патрульного самолета.

«Значит, что-то должно быть еще...» -- нет-нет да порой тихо вознадеивалось Тимохе, блуждающему взором по законному, предзимне-четкому, без прикрас, миру, где неколебимым свеченьем забыто горели бело-алые огни. (...Подобно двум бенгальским огням -- через множество дней -- в руках Нелюбина и Волкова, когда они молчаливо отмечали день рождения еще не возвратившегося в свой город Тимохи, и, с балкона дома, незаслоненные ничем яхты виделись несколько ближе, и тускло-красное солнце, на которое можно было смотреть, не мигая, отражалось в мертвом озерце, оставленном отступившей водой омелевшей реки в сентябре. И между яхт по песку шел человек и ветер слабым теплом шевелил пожухлые листья плюща на балконе...) Правда, на следующий год, в жарком августе, когда он вдруг увидел Иву в круглом, глубоком, с прозрачной водой, бассейне, и, пригнувшись, прячась за каменным, с прорастающими из трещин сухими стеблями трав, «бортиком» бассейна, с остановившимся дыханием смотрел на нее, плавающую обнаженной (того, что она беременна -- не было б заметно в одежде) -- он не вспомнил о тех неясных надеждах, а подумал, что «ночью ведь был дождь, вода, должно, холодная». Был страх, что она его заметит, или Санек увидит с крыльца, если сейчас выйдет (они встретились в городе и обрадовались встрече, и сразу же поехали к Иве на дачу. И Саня вошел в дом, а Тимоха почему-то замешкавшись, пошел в сад, еще свежий от ночного ливня). И было какое-то странное разочарование ее красотой, но, может быть, из-за которого и невозможно было отойти от камней «борта». И ясность, что не сможет правильно, как нужно, рассказать друзьям, как видел ее, ныряющую, подолгу медленно плавающую, будто рыба, под водой, и внезапно выныривающую, откидывая волосы, которые и мокрыми вились черными змейками, и потом что-то спокойно и безмятежно

себе напевающую... И как видел тень своей головы на дне искрящегося под солнцем бассейна.

Мы шли по улице. Как всегда по выходным в эту пору года -- город был почти пуст. Бестеневой и чистый день с ровно-медленными дуновениями ветра походил на вынутую из воды открытку с видом города. Такая вот погода стояла уже много дней и все эти дни держалась атмосфера равновесия и неторопливой работы мысли, словно алгебраическое уравнение решалось не рывком вдохновения, а спокойным сознанием очередности действий, которые и раскроют тайну, только хватило бы жизни.

Мне нравилось, что я иду в расстегнутом макинтоше. Что впереди -- по другой стороне еще вчера оживленной улицы -- идет Тимоха, а за ним, на некотором от него расстоянии, идут Игорь (мы с Тимофеем привыкли звать его Гошей) и Галина. Улица полого шла вниз, в ее далекой перспективе лиловела вода залива. Очень четко был виден памятник первому губернатору города. С лошади, сотню лет щиплющей каменные травинки, он задумчиво и растерянно смотрел в море из-под козырька флотской фуражки.

4

Ночью цепкий и тугой ветер разогнал облачность и звезды предстали полновесными, превосходными, жестокими.

Вполне отрезвевший после вечеринки, я пил чай на кухне, включал излюбленные места магнитофонных кассет (сон отца сберегала частичная глухота) и восстанавливал в памяти мозаику отлетевшего дня. Сидя на венском стуле, старинном, с подлокотниками, я начал «клевать носом», и, когда поднимал голову, выныривая из сновидений -- звуки музыки становились четко ограниченными, сияющими, но опять расплывались, превращаясь в клубы водяного пара... И вдруг все разом оборвалось, рухнуло, разлетелось, и я был абсолютно трезв, и, хотя все так же звучала музыка и по-прежнему дребезжала стеклина от ветра -- я наверняка знал о какой-то неминуемости.

Это было как несколько лет назад, во Вьетнаме, когда в день «весеннего приказа», с канистрою браги перелезши забор батальона морской авиации, я валялся на пологом на сахарную пудру песке пляжа, на котором когда-то загорали американские миллионеры. Пляж, из-за того что он в свое время был основательно засыпан шариковыми минами, -- пустовал. И хотя саперные работы были произведены, -- время от времени что-то живое находило здесь свой финал. Кто-то видел как в клочья разорвало собаку, и, однажды, я, выходя с ведрами помоев из дверей столовой, вдруг посмотрел в сторону пляжа, и с высоты крыльца увидел пустой берег, на котором через мгновение восстал примерно трехметровый, узкий столб песка, и потом донесся негромкий сухой треск разрыва, и песчаный столб стал тончать, шириться, размазываться по воздуху.

- Наверно, ящерица задела, а может само рвануло от ржавчины, -- неуверенно сказал кто-то, вместе со мной грузивший отходы.

И все же в нестерпимую жару, тайком от офицеров, здесь купались. Ожидая Казбека и Сёму, с которыми решили отметить праздник, я мало-помалу отпивал из канистры, гадая, отчего же они не идут.

...Через час я уже не ждал никого. Подложив под голову берет, в шортах и тельняшке, я лежал на боку и смотрел на волнистые линии остывающего песка и на чернильную полосу спокойного моря. В лиловевших сумерках это был пейзаж Венеры, Сатурна. Только в одном месте неба из крохотного просвета в тучах, спрессованно-извилистых как мозговая масса, -- падал желтый сноп вечернего солнца. Слегка подсиненный чернотой конус света.

И, думая о некоторых друзьях и -- немного -- о матери, о сестре и ее подружке Ренате, и еще о разном, казалось, забытом, я неотрывно смотрел на луч солнца в пейзаже Сатурна, и в груди что-то редкостное плавно стронулось, и я едва не заплакал.

Потом я ненадолго задремал, а когда, очнувшись, поднимался с уже прохладного песка -- все было ровно-фиолетовым и я знал: что-то произошло...

Через две недели, в письме из дому я прочел, что «... папа перенес клиническую смерть после энцефалитного укуса».

...Выключив музыку, погасив свет, я перешел в комнату, лег на диван, забросил ноги на его спинку, и, лежа без сна, слушал как ветер ерошит листву садовых деревьев. За стеной отец время от времени что-то во сне говорил, как если б пил с матерью чай. Прогрохотал в отдалении поезд, неслышимый здесь днем, даже самым тихим, воскресным.

5

...И оказывается, я хожу по репетиционной аудитории (откуда вижу в окно сквер с монументом, автостоянку и мрачное административное здание, облитое будничным солнцем), потому что именно я -- постановщик.

А когда я вышел на улицу покурить -- пейзаж со сквером, автостоянкой и зданием, сменился волнистой песчаной пустыней, по краю которой катилось солнце в кровавых протуберанцах. И на песке, в ста шагах от меня лежала субмарина, черная, как паровозы немого кино, гражданской войны. Полная луна в вышине казалась нумизматической редкостью или ископаемой медалью. Впервые я видел на ней не смутные абрисы гор и морей, а силуэты букв, и прочесть эти буквы казалось возможным... И луна сорвалась, и упала под копыта лошади, галопом промчавшейся мимо субмарины, унося в неизвестную даль сжатого, устремленного седока. И подпрыгивая на песке, планета закатилась под черное днище... На корточках, переступая окаменелые экскременты, я приблизился к ней, взял ее (она умещалась на двух ладонях), и выбравшись на свет, прочел круговую надпись: ... Переменная облачность Родины...

6

Весь день работаешь. Подстегивает, вдохновляет то, что работу нельзя отложить на вечер. Не сговариваясь, к вечеру у тебя собираются друзья. Если днем не сбегал в гастроном, -- все вместе, в

сумерках, идете за водкой в таксопарк. Идете вниз по улице. Кончается лето. Теплынь. Проходите по набережной.

Прогуливаются пары. Бродят пьяные компании. Сияет здание самой большой городской гостиницы. В таксопарке, если нет дяди Коли -- «бутлегера», подходишь к машинам, спрашиваешь спиртное. Мерцают огоньки счетчиков. Обязательно в какой-либо из машин надрывно и радостно поет француженка -- «коронный» шлягер безудержно уходящего августа. Пока таксист считает деньги, тебя обволакивает дурманящий, пряный аромат косметики блядей, молча курящих на задних сидениях ментоловые сигаретки. Догорает полоса заката над холмами островов. Или, если уже темно, море колеблет, сливает огни фонарей, фар, неонной гостиничной вывески.

На обратном пути рвете яблоки. Нужно пройти по крышам ряда сараев и за ветку притянуть яблоню. Срываете немного. Слегка закусить -- обязательно ведь откроете бутылку, чтоб выпить по дороге, на ленивом ходу. Или на скамейке, после купания. Искупаешься, и зачастую даже отжать трусы лень. Так и идешь -- в промокших, прилипающих штанах. В расстегнутой рубашке, или выпущенной поверх штанов футболке. Напеваешь себе, в который раз, так и не надоевший французский блюзец. Прислушиваешься, о чем-нибудь кумекая, к болтовне друзей. Потеряешь шлепанец, шагнешь назад -- поддеть его на ногу. А асфальт уже прохладен, не то что месяц, полмесяца, неделю назад...

Иногда летом и в начале осени ходили на танцплощадку. В будние дни танцев не было и сюда приезжала «кинопередвижка». Последний кинематографический автофургон города. Экран навешивался над подмостками для ансамбля.

... В одно из таких посещений кино -- в самом начале сеанса пошел дождь, мелкий и теплый. По мокрым, украшенным нехитрой мозаикой, мраморным плитам танцплощадки бродила собака. Кроме Тимохи, Гоши Волкова и Нелюбина -- никого из зрителей не было. Старик-контролер ушел после предваряющей фильм допотопной хроники (первая прогулка по Луне, ассамблея, партизанские джунгли и морская пехота вгрызающаяся в пляж, новостройки, спуск корабля на воду, рисующие на асфальте дети). И шелест стороною проходящего дождя (небо было чистым и пронзительно-бесцветным

над морем, плещущим в парапет набережной, а дождевое облако уплывало над континентом в сторону пригорода), и то что сеанс шел при почти дневном свете, и то что от пакгаузов «старого» порта доносились обрывки голосов, и мокрая облезлая дворняга, повиливающая хвостом, и газета и огрызок яблока на плитах, идеально отражающих небо и фонарный столб в центре танцплощадки, у которого стояли трое под одним зонтом -- все это каким-то образом будто бы говорило: больше никто сегодня на сеанс не придет..

- Тимох, дай сигаретку, -- сказал Нелюбин.

Он закурил, пряча сигарету в ладони (он стоял с краю и под зонтом было только плечо). Каждый раз после хроники он слегка волновался, так как прелесть «передвижки» в том, что никогда не знаешь какую картину будут крутить. Наверное, поэтому, никогда не спрашивали у механика.

--Жек, ты встань под зонт, а я на твоё место. Сигарету намочишь, -- сказал Тимоха.

- Мм.

Картина оказалась совсем новой (что для «передвижки» было почти что чудом). Музыкальный документальный фильм об артистическом мире. Раздавая затрещины, мельтешил Чаплин, фатально глядел в объектив Бастер Китон, шевелил усами Дали. Песня «Битлз», отрывок из пинкфлойдовской композиции. Несколько отечественных групп, уже всю гремевших в метрополии и теперь заселяющих звуками песен эфир окраины империи. Изображение на экране-- из-за того что было еще светло -- казалось размытым. С неподалеку расположенного парка аттракционов донеслись голоса : -- Тимка!.. Эй!.. Тимка!..

С одной из кабинок на вершине «чертова колеса» приветственно махали дамской сумкой, раскрытым зонтом, блестящим от дождя. Кто именно были эти две девушки, сквозь листву, скрывающую «чертово колесо», было не разобрать. Но Тимофей догадался, что это одноклассницы, с кем он еще этой весной учился в выпускном классе.

... Неделю ранее, в прохладный голубой полдень с затуманенным солнцем, когда Женя Нелюбин проходил по набережной и смотрел на

яхту, невесомо скользящую по поверхности моря (слышался только отчетливо-тихий скрип снастей) -- увидел, что кто-то поднял руку в приветствии. Нелюбин оглянулся, но на набережной вблизи него никого не было. Можно было б узнать -- кто это из знакомых -- по цветовой гамме одежды, как, верно, тот узнал Нелюбина по линяло-белой парусинной куртке, но парень на яхте был в одних только шортах, и, Нелюбин, остановившись, также молча помахал рукою.

- Я сегодня видел Ильяса Зинатуллина и Вадика Дубодела, -- засмеявшись, сказал Игорь. -- Я вниз от телебашни шел днем, а они на фуникулере вверх подымались. Кричали из окна мне. Песню горланили. Бутылкой махали. Хороший день сегодня.

Шли с танцплощадки уже в густых сумерках. В освеженном парке шелестели деревья, роняя капли отошедшего дождя. В безоблачном небе перемигивались звезды, редкие, и радостные какою-то тою щемящею радостью, озаряющей своим светом сердце, когда те, с кем еще этой весной ты был в одном выпускном классе или на курсе института, университета (или еще где-нибудь), окликают тебя, в прозрачном сентябрьском воздухе проплывая мимо на фуникулере, на яхте, на карусели...

7

... И он купил себе игуану, этот вихрасто-белобрысый во всем пыльно-сером. С рынка домой он нес его (детеныша) в кармане своего единственного костюма. Откуда-то сверху вижу (будто бы облетая) панораму городского рынка, который перерезают трамвайные пути. Пестрое, кишачье, шумное месиво рынка, грохот трамваев. Таким рынок бывает в разгар летнего дня, в самое его пекло. Вонь овощной гнили, шибящий дух людского пота, порхающие в воздухе хлопья фабричной и автомобильной гари. Но он -- словно в силу невзрачности -- хорошо виден среди хаоса толпы. Вот он переходит рельсы пути, невзначай с кем-то сталкивается, озирается и перебегает через другую пару рельсов перед трогаящимся трамваем. То и дело откидывая одной рукой пепельный чуб со лба, другую он держит в боковом пиджачном кармане и пальцами осязает треугольные зубья наростов на спинке животного.

Не знаю по прошествии какого времени ему пришла мысль причинить подростку игуане боль. И в полумраке своей комнаты (в окно сочится зашторенный и горячий свет полдня) он прижал ногой в ботинке животное к полу и тихонечко надавил... И оно шипяще заверещало и с неожиданной быстротой уползло под кровать. В этот душный день, небо которого через некоторое время стало облачным, затем сплошным серым, он заходил на почтамт, в редакцию, на скамейке в сквере ел хлеб, запивая его кофейным напитком в бумажном стакане, читал газету, лежавшую на скамейке, гулял вдоль набережной. Облокотясь о парапет, курил, оглядывая пляжное уныние: робкие купальщики, вялые игроки в мяч. Потом и сам купался. Лежа на спине, невдалеке от берега, поколыхиваемый рябью волн, думал о себе, о своей юности, о том, как зимой гранатометный огонь близился к мерзлой траншее, думал о следующих за юностью остальных днях своей жизни...

Когда он вышел на берег, ему стало зябко и он стоял на песке, обсыхая, и впервые за несколько лет делал жест, предвосхищающий что-то нестерпимо важное -- безотчетно потирал ладонью горло и грудь, и, озираясь, видел штилевой океан и вечерний город, спокойный и остранный...

8

В тот день, когда к Игорю Волкову приехал двоюродный брат, тайфун находился еще далеко, у Гавайев. Был пасмурный тихий день, поминутно за окном что-то стучалось о жёсть карниза (срывались с неба капли? птица склевывала крохи?). Гоша сидел среди кухонного беспорядка, пил кофе, с наслаждением затягивался первой после сна сигаретой. Работал старый «Рекорд», стоящий на ящике из-под белил. За распахнутым окном спокойствовало лилово-белое молчаливое небо, и Игорь подумал о медузе, о недавнем купании, о Гале, о себе... И когда раздался дверной звонок, неясная тихая радость, кружась, медленно опускалась в бездну сердца, словно перо в вакуумной колбе на давнем уроке.

- Да!..

Вошел человек с чемоданом, с какими ходят водопроводчики либо радиомастера. Это был светловолосый юнец в темном демисезонном пальто.

- Здравствуйте, -- сказал он из прихожей. -- Вы меня не узнаете? Я -- Саша.

- Здравствуйте...

--Я ваш брат двоюродный. Вы разве телеграмму не получали?

- Нет, телеграмму нет. Тебя узнаю. Заходи. Как тетя Надя поживает? Давай кофе налью. Сто лет прошло как я у вас гостил.

--А куда пальто повесить можно?

--Да вот на стул дай повешу.

Подросток Александр приехал из села Луговое, Амурской области, чтобы пройти курс профилактического лечения в одном из здешних пригородных санаториев. Все шестнадцать с половиной лет жизни он провел в Луговом. Бывал лишь в райцентре, довольно крупном поселке. Казалось, по лицу с глазами полными беспечальной задумчивости, блуждают тени, отброшенные облаками пустынного долгого детства, прожитого в деревне, пребывающей век от века среди заливных лугов и полей ржи.

--Скучно там, да?

--Не знаю, -- Саша пожал плечами. -- Кино в клуб по выходным привозят. В футбол играем.

--За конюшней, по-прежнему?

--Угу. Ну, на конюшню хожу часто. На ферму. На пасеку, у Мишке Фролову. Книжки читаю.

--Какие книжки любишь?

--Любые люблю.

--Потрясающе. Купаетесь, да?

--Да. Только Будунда омелела. По колено теперь. На озеро хожу. Далеко правда.

--Один ходишь?

--Один. И с Мишкой Фроловым.

После кофе Волков поехал с братом в санаторий. В троллейбусе они стояли у заднего окна, глядя на скользящие прочь улицы. Иногда Александр привставал на цыпочки, вытягивал шею, провожая что-либо взглядом равнодушного интереса.

--А это что? -- спросил он, когда открылся вид на расположенный в море, пестро расписанный круглый домик ресторана.

--Это ресторан. «Поплавок» называется. Мы там обязательно посидим. Выпиваешь?

--Мишка иногда приносит. А, забыл, -- он бутылку медовухи дал, чтоб я тебя угостил.

«Как бы еще и Мишку посмотреть», -- подумал Волков.

Когда шли к санаторию, Волков хотел было сказать, давай, дескать, ты будешь только на процедуры ездить в санаторий, а жить у меня, но Саша сказал:

--Я у тебя жить буду, а деньги пусть нам выплатят за то что не буду там ночевать и питаться.

... После того как все уладилось, братья прошли по пустому санаторному пляжу.

--Может рискнем -- скупаемся? -- предложил Гоша.

Саша, присев, потрогал пальцами воду и сказал:

--Холодная. Мне вредно будет.

--Ты море видел раньше?

--Нет.

--Как тебе море?

--Нормально. Нравится. Какая собака, смотри.

Неподалеку от них, собака, резвясь, вбегала в воду, перепрыгивала через пляжные скамейки. Волков подивился яркости контраста: колли в тусклой атмосфере слабо-туманного дня.

- Смотри какой, -- сказал брат в троллейбусе на обратном пути. И оставил палец в стекло. Троллейбус замедлял ход, близясь к остановке. Игорь увидел едущего в инвалидной коляске по тротуару пожилого мужчину в белой рубахе, в жилетке, в тирольской шляпе. В зубах он сжимал длинный мундштук с дымящейся сигаретой. Инвалид двигал двумя рычагами. Когда троллейбус остановился -- стало слышно как стрекочут колеса. Спицы мелькали, сигарета дымилась. Чтоб дым не ел глаза, человек держал голову высоко, затягивался без помощи рук, как-то остро, чуть насмешливо улыбаясь углом рта. Одежда (даже закатанные внутрь -- выше колен -- брюки), казалась чистой, ладно сидящей, сам же он, сухощавый, выглядел знающим о себе что-то важное, большое. И, хотя музыка

заиграла через несколько минут -- водитель включил приемник -- выйдя из троллейбуса, Игорь, вспомнив об инвалиде, подумал: «надо же, этот уникальный мужик появился и тут же -- клавесин»... В воспоминании этот человек предстал не только на фоне кирпичной стены, с облетевшей известкой, но еще где-то над стеною присутствовал безоблачный клин голубого неба

Остаток дня и весь вечер Волков провел за работой. Он сидел на стуле возле окна. Одной рукой придерживал на коленях кусок оргалита, в другой держал кисть. Мольбертом он не пользовался. Иногда, работая, он клал оргалит или холст на пол, или приставлял к стене, но это когда формат картины был таков, что неудобно было держать на коленях. Он работал над портретом отца Нелюбина. Он думал о том, как подарит портрет отцу, как будет потом брать портрет на время выставок. Портрет был «профильным». Гоша улыбнулся, вспомнив как Нелюбин однажды сказал: «мой отец похож на Брандо, значит и я тоже похож на Брандо». Волков думал о живописи, о скульптуре Александра Андреича, о живописи других художников города, думал о том, как хорошо работается ему, Волкову, когда на улице жара, а он сидит на корточках, раздетый до трусов, у лежащей на прохладном полу картины, и так весь день, пока жара не спадет, а потом можно идти искупаться, или в кино, или к друзьям, или просто пошляться по улицам, по набережной, в широких белых штанах, в шлепанцах на босу ногу.

Гоша отрывался от работы, глядел на портрет, на фото, прислоненное к оконной раме. Фото было сделано три года назад. Он зашел к другу, тот должен был прийти из института (в тот год Нелюбин заканчивал актерский факультет). Игорь сидел у него в комнате, пил чай, разговаривал с его матерью. Потом мать ушла, он снял со стены одну из гитар, и вспоминал несколько «простых» аккордов, показанных ему другом. Хотя играть он до сих пор не научился, тогда было как-то приятно зажимать аккорд, проводить по струнам. Отец вошел в комнату и сказал:

--Здорово, Гошка, пойдём деревягу притащим.

--Здрасте, дядь Саш.

Они прошли через комнату отца наружу, в сад. Тогда был прохладный сентябрьский день, хмурый, пропитанный сыростью, но

город и море внизу были видны как на ладони. Гоша и подумал тогда о какой-то ладони, которая держит весь этот ландшафт словно диковинную головоломку, или бригантину в аптечном пузырьке. Они с отцом распилили одну из замшелых коряг, покоящихся под садовыми деревьями. Кажется, это было корневище. Перед тем как они взялись за двуручную пилу, дядь Саша отер ветошью раскисшую землю и мокриц с древесины. Именно тогда, когда звук пилы далеко разносился в просоленном воздухе на фоне отдаленного гула городской жизни, и пришла мысль написать этот портрет. Что называется в «традиционной манере». Снимок Игорь сделал в комнате отца, глядя как тот работает долотом и стамеской. Выражение лица у него было жесткое, почти жестокое, он щурился, чтоб стружки не попали в глаза, и, поэтому, лицо, и так все покрытое морщинами, теперь напоминало вид земной поверхности с самолета, что на большой высоте пролетает над дельтой реки. Отец, иногда, обламывая стружку, смотрел на Волкова и улыбался. Спрашивал: -- Ну, как дела, Гошка?

(Или что-то в этом роде.) Но когда Волков отвечал, он уже опять ударял по стамеске долотом, порой обухом топора. Игорь щелкнул фотоаппаратом (он часто брал его с собой, отправляясь пройтись по городу), когда отец взял карандаш и начал делать на дереве какие-то линии, небрежные, быстрые и точные. Выражение лица стало чуть мягче, но морщин еще прибавилось. «Вот таким я тебя напишу» -- подумал Игорь, и почувствовал мгновенную слабую дрожь, как бывает если мысль соприкасается с чем-то таким, что живет в самом сердце...

--Резонанс, -- сказал Гоша.

--Что?

--Да так, -- ответил Волков брату, сидевшему на койке, разглядывая репродукции в книгах.

Еще вспоминалось, как однажды он встретил отца друга на улице. Днем стояла убийственная жара, а под вечер пошел ливень. Немного пьяный и радостный и равнодушный, Волков ехал в почти пустом трамвае и увидел как Нелюбин-отец устало идет под ливнем, и, видно было, что идти в прилипшей к телу рубахе, ступать по лужам в штиблетах на босу ногу -- ему хорошо... И Волков выскочил из

трамвая, и догнал отца, и, не зная что сказать, спросил сколько времени.

--А, Гошка, здорово, -- улыбнулся отец сквозь дождь, и отер мокрое лицо рукой, и вытащил из кармана рубахи часы на шнурке.

И потом Волков недвижно стоял и смотрел как заштриховываемый ливнем единственный силуэт уходит в исхлестанную свежестью корявых ильмов, с треском пронзаемую синими сполохами трамвайных искр, водно-дымящуюся уличную даль...

9

...Это ты уже видел на картине средневекового художника: концентрическая тьма и -- где-то далеко и высоко -- круг света. И голые отлетевшие души возносятся к нему. Но сейчас ты один ползешь на четвереньках все дальше, все выше. В ладони, в колени впиваются мелкие осклизлые камни, и в узком тоннеле зябко и сыро. И вот ты застыл, выглянув из жерла тоннеля, оказавшегося трубой, что наклонно тянется под землей и «верхним» концом выходит посередь среза обрыва... Белое небо с голубыми просветами. Чистые, до бесконечности раскрытые пойменные дали. Сиротливо, свежо и пустынно... Течет темная река, большая, но песчаный, поросший облетевшими ивами остров, кажется ближе, чем есть.

Там раньше, давно, в твоём детстве, было стойбище и ты один раз съездил туда с отцом на моторной лодке. Капал дождик и в хижинах была головокружительная вонь, и тебя чуть не вырвало, когда вас с отцом угощали блюдом из сырой рыбы.

Была еще высокая приречная трава и вытопанное место, окруженное стенами травы, и не старый шаман почти не бил в бубен, не пел (как обещал отец) у черных и гладких деревянных божков -- «барханов), а жутко завывал и хрипел, и катался по земле в стелющемся дыме трухлявых дров, и домой ты вечером явился простывшим, раскисшим, полуобморочным. И тогда тоже, кажется была осень, потому что осенью ты особенно плохо учился, и ты стоял в углу у доски во время диктанта, а лампы в классе гудели, и за окнами было темно, и шумели деревья, и в класс порой проникали

спешные шаги работяг по дощатому тротуару за забором школы, и поездка в стойбище представляла иной...

10

... Сизый свет сумерек отступал из комнаты, в глубине которой подросток листал книгу о Веласкесе.

- Саш, глаза испортишь.

Саша поднял лицо и посмотрел поперх головы Игоря.

- А мне нравится так. Молчать. Что-нибудь делать. Находиться с кем-нибудь.

- С Мишкой Фроловым? -- Волков засмеялся.

- С дедом. С бабкой. С Мишкой -- тоже.

Игорь посмотрел на брата. За окном, как и утром, слышались стуки о жесть карниза. Только тише и чаще

- Смотри, -- сказал Александр. -- Дельтаплан.

- А, да они тут часто летают над заливом, -- Волков мельком глянул в окно, но брат все следил за полетом и Игорь снова обернулся, и, видя искусственную птицу, подумал: «Интересно, что там за человек. Поболтать бы с ним». Он немного переживал за пилота, чей аппарат расплывчато белел, парил в сгущающемся сумраке.

- Слушай, а если дождь, ливень хлынет, как он там будет?

Саша промолчал.

Ливень пошел когда братья ужинали при тусклом свете кухонной лампочки. Ели обычную пассажирскую снесь. Яйца вкрутую с потресканной скорлупой. Огурцы. Бутерброды. Попробовали медовухи.

--Хм. Как будто было.

--Что было? -- спросил Игорь.

--Дельтаплан. Ливень. Вечер.

--Ну, наверно, Саш, что-то эдакое было с тобой.

Лежа у стены на полу, на матросском бушлате, в шумящей дождем темноте, Волков думал об Александре. Таким как он, человек может стать от любви, симпатии, дружбы, которые отовсюду изливаются на него. Есть же такая порода людей. Такой же и тот безногий с мундштуком. Знают что в них содержится что-то. Что-то непобедимое,

за что людям хочется чуть ли не дышать на них, беречь их, отдавать им все лучшее, последнее, переживать за них сильнее чем за себя, и чувствовать себя печальными, счастливыми, пока эти Александры глазеют по сторонам, думают о всякой там всячине... Саша сказал, что дельтаплан, дождь, вечер -- было. А так и есть -- было. Лет одиннадцать назад. Стоял сентябрь, как и сейчас, но только первая его неделя. Это почему-то помнится точно. Он, Волков, играл в футбол за девятый класс против десятого. Пятеро на пятеро. Школьники вернулись из районной школы на автобусе. (В школе Лугового, где учительствовала тетя Надя, была «восемилетка». Смешно -- классы по семь, а то и по шесть человек.) Это были последние дни его единственного лета в Луговом. Он и Саша (шестилетний тогда?) развлекались футболом. Саня в основном бегал за мячом, когда тот отлетал в сторону. Один раз мяч отлетел за ограду загона для лошадей у конюшни и пьяный мужик вытащил его из навоза и ударом кирзового сапога ловко переправил мяч на поле, сам при этом чуть не упал. По небу проходили тучи, налитые дождем, но было солнечно. На сколько можно было видеть, окрестные луга то сияли, мокрые, то одевались густыми тенями проплывающих туч. Было видно -- там вон идет дождь, вон там, там. Всюду стояли торцы дождевых стен, диагонально упирающиеся в небо.

Школьники шли от шоссе по лугу. Девчата своей группой, парни своей. Размахивали сумками с учебниками. Занятия в школе после летних каникул еще не утратили своей новизны.

--Пацаны! Эй! Сыграем! -- крикнул Гоша.

Земля была истоптанной, рыхлой, а все были в чистом. Впрочем, это никого особо не волновало. Забив гол в начале игры, Игорь подвернул ногу и встал в створ ворот. Санька прохаживался за сеткой. Ему тоже хватало работы. «Десятые» одолевали. Игра набирала свой азарт, свои обороты. Несколько раз мяч пролетел сквозь дырявую сетку, но счет тут же сравнивался. Шутки, подбадривания смолкли. С головы до ног все были в грязи, а до усталости, как до победы или проигрыша, было еще далеко. Оставалось играть минут двадцать -- матч решили сделать часовым без перерыва -- пошел «слепой» ливень. На поле стало очень солнечно, но потом свет сместился в сторону. Вверху загремело,

загрохотало. После очередного пропущенного гола, Гоша, введя мяч в игру и следя за его траекторией, увидел в небе планер. Он бесшумно кружил на километровой высоте, снижался, уходил ввысь. Солнце потонуло. Стало сине, острый воздух щипал ноздри, охлаждал легкие. Засверкали венообразные молнии. (Таких гроз как тем летом в Луговом, он не видел больше нигде. Открытая местность, -- верно, поэтому.) Несколько раз от разрывов грома закладывало в ушах. После первого, самого оглушительного, Гоша посмотрел вверх. Бледно-серебристый, темно-белый, планер -- кружил. Высоко над землей, в средоточьи грозы... Игорь несколько раз кричал брату сквозь стену ливня, чтоб шел домой, но Саша только мотал головой, стоя за драной сеткой, засунувши руки в карманы. Он заплакал и убежал после того как Игорь выбранил его и в сердцах замахнулся. Всякий раз, как только игра отступала от его ворот, Волков подымал голову, отыскивая планер, находил его и дыхание замирало...

Время ничейного матча вышло. Решили бить пенальти. У Гошиных ворот образовалась огромная лужа и последние минуты игры он стоял по щиколотку в воде. У других ворот было несколько «суше». Под навесом конюшни два конюха сидели в бричке, уткнувшись оглоблями в землю, пили вино из горла бутылки. Они следили за матчем с самого начала. Пока все переходили к «сухим» воротам, -- оговаривали, почти что надрываясь в крике из-за шума воды, по сколько мячей бить, и на пальцах производили жребий кому первому вставать в ворота.

Оставалось сделать по удару (из пяти) обеим командам -- и проливной дождь перерос в тропический ливень. Вратарь «десятых» сумел отразить довольно хлипкий удар.

Гром уже не гремел, молнии не сверкали. Планер исчез. Волков почувствовал тоскливый холод, появилось ощущение, что некуда деться, и он подумал что проиграет. Он. Изготовясь, стоял в воротах, игрок застыл перед разбегом, мяч за толщей ливня виделся смутно, время прекратилось...

Игорь шел по налитому водой лугу, приближаясь к дому. В разбухших, разбитых ботинках чавкало, хлюпало. Ливень исчерпал себя сосем. Подул ветер. В разрывах туч показалось солнце. Уже предвечернее. Беленый, с голубыми ставнями, дом, отделяла от

конюшни всего четверть версты травяного простора. В одном из окон был виден Саша, он стоял у подоконника, подперев лицо руками. Увидев что Игорь заметил его -- исчез. У летней кухни вода в железной бочке под сточным желобом, еще утром -- черная, покрытая тиной, теперь была чистой. Проглядывалось дно -- в коростах и чешуйках ржавчины. Игорь склонился над бочкой, увидел себя в круге неба с клочьями стремительно редящих туч. Скинул майку, ботинки, шорты. Омылся. Все окружающее с каждым мигом набирало резкость, остроту, холод.

Из-под навеса, примыкающего к кухне, вышел дед и сказал:

- Иди сюда. Вот, смотри. Это седло и это -- отдашь. Старик придет сейчас. А я пойду. Кольку Прохорова хороним.

--Да, деда, я отдам.

В то время дед еще шорничал. Под навесом пахло кожами, сырым войлоком, опилками, мокрой пылью. Вода сочилась сквозь щели в навесе, капала на ящики с инструментами, на сваленные грудой кожи, на хомуты, на пустые бутылки в углу, на жернов наковальни, на табуреты для почти ежевечерних посиделок деда и его друзей.

--Кто ж по такому дождю футбол играет, -- сказал дед. -- Выиграли?

--Нет, деда, проиграли.

--Ну-у... -- дед махнул рукой, снял с гвоздя пиджак, провел по волосам обломком расчески, и пошел. И обернулся: -- Иди в тепло. За занавеской там оставалось вроде. -- И подмигнул и вышел за ворота.

Одевшись в сухое, Игорь сидел, держа в руке кружку с вылитыми в нее остатками водки. Спиной он ощущал жар углей, тлевших в низкой кухонной печке. Ветер дул все сильнее, небо очистилось. Мир плавно окрашивался красным. Капли воды стекали с волос по шее, прокатывались за шиворот рубахи. Капля упала в кружку. «Может, если б рыжий пропустил последний удар, а я отбил, не было б так хорошо. Было б хорошо, но как-то иначе», -- подумал Гоша и сделал глоток, и вытащил из банки соленый помидор. Отломил хлеба.

--Тимофеич!.. Тимофеич!.. Демьян!..-в сиплом и задушевно свисте ветра послышался голос где-то позади дедовской шорни. Открылась дверь и на пороге возник старик. Пришедший молча сел напротив окна, когда Игорь предложил ему чаю. Горбоносое лицо старого

человека словно еще хранило натиск ветра. Он сидел не сняв картуза -- худой, небритый, загорелый.

--Там седла, я вам покажу потом.

Гость кивнул головой, мучительно сощуренными глазами глядя в окно.

--Ты внук демьянов, -- сказал он. Голос был хриплый, негромкий и внятный.

--Да.

Гость, держа кружку обеими руками, отхлебнул дымящийся чай. Поднял голову. Расстегнул пуговицу ворота выцветшей серой тужурки.

--Тут водки немного есть. Выпейте?

Гость едва кивнул, взял кружку со стола. По дороге шла процессия. Лошадь везла телегу. Борта телеги скрывали гроб. Ветер развевал края кумача, которым застелили дно телеги. Кумач виделся едва ль не черным. За гробом шли несколько человек против встречного ветра. Дед под уздцы вел лошадь.

--Земля там песчаная, а то б яма до краев была полна, -- произнес гость.

Люди шли не быстро, не медленно. Один из шедших уронил кепку. Он поймал ее, катящуюся по земле. Пока он бежал за кепкой, одна из женщин остановилась, глядела на него. Ветер, рвущий траурное ее одеяние, делал фигуру словно смазанной -- прочь, от себя. Скорым шагом она и мужчина догнали процессию.

--«... Сетование лучше смеха...»

--Как? -- спросил Игорь, но не получил ответа.

Дорога осталась пустой. Тополь у конюшни качался под ветром. Живая масса листвы, натянуто смещаясь в одну сторону, напоминала о женщине на дороге.

--«... Время войне и время миру»... да-а... -- сказал, даже, скорей, прошептал, что-то припоминая, гость, и, глядя в окно, несколько раз смигнул. Снял картуз, пригладил короткие пепельные волосы и выпил...

... И я, может быть, такими стану. Если повезет. Если смогу. -- подумал Волков, обволакиваемый шумом близкого ночного дождя.

11

... Блудный сын улыбался, и глаза мутно слезились, и земля делалась ближе, и проносились под ногами шиферные крыши, залатанные ржавую жестью, обсаженные тополями квадраты земельных наделов, коровы, трубно голосащие ввысь, электрические провода и изоляторы. И возносился кухонный чад и хрипло брехали цепные собаки. И капал дождь на старика и старуху, задравших головы, остолбенело застывших средь двора, вглядывающихся в близящегося парашютиста, несомого верховым ветром и энергией притяженья...

А на булыжниках мостовой Исторического проезда лежал буй, громадный (такой, какими ограждена зона промышленного порта), светло-оранжевый, украшенный железным флажком. Ты обходил его кругом, наслаждаясь пустотой города и видом Кремля и Собора. Сквозь облака алел рассвет и небо стремительно двигалось, плыло, летело и не издавало ни звука, и от этого сердце сжималось, а в голове возникало: я, должно быть, кого-то люблю...

И море было столь синим, что от белизны шхуны, вздымавшейся вдали на волнах, быстро уставали, болели глаза, и море шумело, шумело, как шумит оно вдалеке от берегов, и никого не было. Была только двухвостая, бледная и тяжелая рыбина, покачивающаяся над водой на шхунных лебедках...

12

За городом, в ослепительно солнечный день, Тимоха, Нелюбин и Гошин кузен возлегали на горячей скале. Только что искупались: Тимофей и Женя, заплыв далеко от берега, ныряли, встречались с открытыми глазами под водой, -- здоровались. Нелюбин даже сказал: «Да пошел ты...» (слова превратились в пузыри, но Тимоха понял), вынырнув, смеялись. Тимоха умудрился запустить в Нелюбина плазмовым сгустком медузы. А Александр сидел в воде у берега и плескал воду себе на грудь, на лицо, но скоро вылез из воды, и, забравшись на скалу, включил радиоприемник, искал музыку.

--Не верится что сентябрь, как в июле, -- сказал Тимоха, тяжело дыша. -- Камни накалились как, а?

--Пойдем под дерево, а то голову напечет, -- сказал Саша.

--Да ты позагорай, старина, а то белый как смерть. Давай я тебе панаму заделаю, -- сказал Нелюбин и свернул панаму из газеты, купленной на автобусной остановке. -- Держи.

На белые камни скал и нестерпимо синее море было больно смотреть -- отраженное солнце резало глаза. Небо над головою было чистым, но повсюду вдали в подрагивающем воздухе громоздились облака, задумчивые, величественные, неведомые. При взгляде на них хотелось пить.

- Почему, когда полежишь на солнце лицом вверх минут пятнадцать, а потом откроешь глаза, все вокруг какое-то фиолетовое и даже с прозеленью. И черное как бы, -- сказал Тимоха.

Он ненадолго задремал, а теперь озирался с недоуменно-счастливой ухмылкой.

- Помолчи, а? Поболтаем еще... Дай побалдеть, -- пробормотал Нелюбин. Он лежал на спине и прислушивался к звону в голове -- ... как в детстве, на операционном столе после дачи наркоза...Доносившиеся из приемника вежливые и корректные голоса дикторов казались снящимися, а сами факты новостей -- едва ли кому нужными, далекими, мелкими...

- Как хотите, а я пойду под дерево, -- сказал Саша.

- Мм... Пойдем-пойдем, -- сказал Женя. -- Поесть пора уж.

В тени корявого ильма, подымавшегося метра на три-четыре вверх, а потом продолжавшегося параллельно земле, было легче смотреть на белизну скал, на синеву моря.

- Я не видел еще таких кривых деревьев.

- Это, Сань, от морского ветра, должно быть, -- Тимоха погладил-пощупал пальцами ствол дерева. -- Тыща лет, наверно, дереву этому. За километр отсюда еще одно такое есть. Уже пожелтело...

- Так, вот чай холодный, а тут хлеб и сыр, -- сказал Нелюбин.

- Интересно, а какие из зверей живут больше всего, -- сказал Тимоха и отпил из термоса.

- Ну, птицы кажется. Попугаи, вороны, -- сказал Нелюбин, ложась на жесткой траве, оцетинившей мощные корни, вспучившие

покрывающую их скудную землю. -- Смотрите, что это в море, катамаран, да?

- Не разобрать, далеко слишком, -- сказал Тимоха.

- Я знаю, что есть обезьяна человекообразная. Ей сейчас тысяча триста семьдесят пять лет. В журнале читал и фотография там была, -- глядя в даль моря, промолвил Саша. -- Дай, Тим, попою.

- На, а где она находится?

- На острове каком-то. Она уже много лет умирает от печали.

- Почему? -- спросил Женя.

- Потому что все ее друзья и родственники умерли, и их дети умерли, и вся порода может быть даже, а она одна живет и живет. Люди ее оберегают, она как бы достопримечательность, что ли, или священная. На фотке в объектив смотрит, а кажется, сквозь тебя, далеко куда-то. Косматая, огромная, лицо все в морщинах.

Потянуло прогретым ослабленным ветром. Листья ильма зашелестели, по голому склону выжженной солнцем скалы, глубоко вдающейся в море, проскользила тень от облака. Она бесшумно проследовала по скальным узлам, наростам и впадинам из монолитного камня, по считанным деревцам, добралась до края пропасти и исчезла...

13

... Душным вечером иду по проспекту, в захламленной перспективе которого пошарпанно догорает закат. Со мною идет один из лучших отечественных, да, пожалуй, и мировых клоунов цирка и актеров кино. Теперь это седой, морщинистый человек в будничном костюме. В теплом сквозняке сиреневых сумерек -- мегаполисный запах выхлопов автомобилей и пыли. Пыли, которая поглотила и колоннады акрополей и развалины вавилонских храмов. И так же неотвратно сомкнутся, заровняются подобные водовороту над омутом -- воронки пыли над шпилем университета, над свежемогильной звездой Кремля, над белым метеорологическим шаром на крыше билдинга...

После долгого, трудного, и, может быть, счастливого дня в голове слегка звенит, как звенит в ней, когда глубоко занырнешь. Мы

проходим мимо витрины кондитерского магазина и мой спутник говорит мне:

- Смотри, сколько шоколаду.

- Да.

Мы останавливаемся и смотрим на пестрые коробки, плитки, шоколадки в виде треугольников, конусов, медалей. Мы отражаемся в длинном узком зеркале, на фоне которого расставлены сласти. И отражается кусок дымно-закатного неба. И видно как по улице за нашими спинами проходит сомнамбула -- невзрачный прохожий в кургузом пиджаке, в мятой шляпе, вытянувший руки вперед. И кажется, что он проходит под водой...

- Перед войной, помню, было много шоколаду.

- Я тоже помню, -- говорю я, подумав о времени не столь далеком, как то, о котором сейчас сказал кумир моего детства.

- Всегда, наверное, перед войной -- шоколад...

14

Закатное солнце погибало, горело в окнах домов, дул теплый и пыльный городской ветер, когда Игорь шел к себе после прогулки с Галей. (Они, взявшись за руки, в молчании блуждали по городу, удивленно набредали на море в провалах улиц, неспешно стремились к нему, меняли направление, шли, то вдоль высокой, поросшей травой стены, то проходили проулок -- и море вновь возникало, заполняло пустоты в заборе...)

Игорь проходил мимо пустыря, неподалеку от своего дома. Пустырь кончался обрывом. Солнце освещало разбитый, смятый автомобиль на пустыре и сухой, вырванный из земли куст полыни. Вздымаемый ветром высоко в воздух, не находя пристанища он бесшумно перелетал с места на место. Крона дерева на крае обрыва шелестела, шумела, металась.

Идя встречу толчкам теплого воздушного натиска, Игорь выпустил рубашку поверх джинсов и расстегнул все ее пуговицы. Некоторое расстояние асфальтовой дороги, лоснящейся в свете заката, он прошел закрыв глаза, -- и шум мира слышался как дыхание раковин моря.

В подъезде квадраты вечернего солнца лежали на уходящих вверх лестничных проемах. Стало тихо, и Волков, подходя к почтовому ящику на площадке меж первым этажом и вторым, слышал свои шаги и мерный стук сердца. Он открыл почтовый ящик. Писем, как и всегда, не было. Свыше послышался отдаленный гул, перешедший в мелодию. (Когда Волков только-только заходил в подъезд -- показалось, будто что-то гудело. Но гудение смолкло.) Тусклый, задумчивый, и траурно-радостный звук трубы лился и нарастал, дважды кратко осекшись. Игорь стоял у пустого почтового ящика и глядел на солнце в окнах соседнего дома, недоуменно дивясь: как все же человеку бывает томительно, блаженно и тягостно...

Он поднялся по лестницам и открыл дверь и вошел и с минуту стоял, прислонясь к косяку в прихожей. Пыль плавала в лучах солнца, пронизывающих обжитой беспорядок комнаты с музыкантом, сидящим на стуле. Тщедушный и кажущийся бесконечно далеким и никогда не забытым, Александр находился спиной к Игорю, и не слышал, погруженный в музыку, как тот вошел. Нотный сборник, раскрытый, стоял на другом стуле, был прислонен к спинке. Свет солнца этого дня минорно сиял -- точкой на раструбе инструмента, воскрешая невнятную память о жестяных крышах какого-то острова, о холмах берега и об осени, о несмолкающем ветре, о тебе...

- А, пришел, -- сказал Александр. Он переворачивал лист в нотах и заметил Игоря, -- Я вот тут играл.

- Играй дальше.

- Потом. Часа два наверно играл. Устал.

- Что это за труба такая у тебя. Небольшая совсем.

- Это корнет.

Александр вынул сурдинку из корнета, вытащил мундштук, продул его, и уложил корнет, мундштук и сурдину в свой раскрытый пошарпанный чемоданец -- поверх белья.

- Это сурдинка, да? Дай посмотрю. Легкая... А кто тебе, Саш, майку порвал?

- А, это. В санатории. Я там делал сегодня физзарядку лечебную и мяч укатился под кушетку. Я полез и порвал. Ну, там шуруп торчал. -- Саша во время рассказа сходил на кухню и вернулся, жуя бутерброд

и запивая его молоком из бутылки. Брюки на босом Александре были закатаны по голень.

- А что за пьесу ты играл?

- Я сегодня только две играл: «Олвидар» и «Эпилог».

- Что «Олвидар» значит?

- Не знаю. Наверное, чье-нибудь имя. Я еще хочу «Как глубокий океан» выучить.

- Обязательно выучи... Голодный, Саш? Я утром суп варил. Брикетный, правда. Но ничего, вкусный.

15

... Какое-то одиночество радости... Именно в таком состоянии, он, казавшийся вечно грустным и стремительным, пребывал почти все время летом окончания института. Записки на свое имя, которые в те необъятные июньские дни он обнаруживал в почтовом ящике, лишь обостряли это состояние чувством неясного ожидания... В указанное время приходил на означенные в посланиях места. Сперва это был пустырь близ конечной трамвайной остановки. (В полдень открывались гастроли зарубежного цирка) Развевались флаги, высился шапито. Брезент вздымался и опадал на ленивом ветру. Бравурно-сентиментально звучала духовая музыка и к аэроплану сквозь толпу проталкивались лилипуты в летных шлемах и крагах. Он сидел на траве, глядя в бледно-голубое, чуть затуманенное небо, где только что канул самолет, проделав каскад пируэтов. Никто не подошел к нему, не заговорил. Никто не подал ни знака. И после того как несметная толпа скрылась за пологими шапито, он еще с полчаса сидел на пустыре, делая пометки в учебнике мертвого языка.

Через несколько дней -- мост. Совершенно пустой. Тусклое солнце в закатном мареве цепенело над морским горизонтом. Волны -- далеко внизу -- невнятно переплескивались под исполинскими фермами моста. Недостроенного, уходящего на милью в море и обрывающегося, не соединив материк и неразличимый в просторе остров. Еще был луна-парк, по-субботному -- пьяный,

оглушительный, беспорядочно расчеркивающий зигзагами аттракционов черное индиго ночи.

И хотя записок больше не приходило, в зоосаде, где подрабатывал уборщиком его приятель -- с сожалением подумал, что этот скучный белесый вечер с редким дождем, этот понедельник в «зоо», эта дремотная тишина, может быть, лучшие условия для неназначенной встречи. С бутылкой вина в руке он неторопливо шел мимо клеток. Нахохлившиеся птицы... Приникшие к металлической сетке дряхлые обезьяны... Носороги будто гранитные... Он был зачарован, заморожен глазами животных (словно предчувствуя, что через несколько лет, он, терпеливо лежащий со снайперской винтовкой в руинах на окраине большого европейского города, вечером, морозящим и тихим, будет изувечен бенгальским тигром, исчезнувшим из зоопарка после воздушного налета на центр)... Поболтав с приятелем, к выходу он шел уже скорым шагом, улыбаясь от мыслей о том, как когда-нибудь вспомнит и терпкий вкус рислинга, и сумрак аллеи, и смех школьного друга, и точки капель на асфальте... Выйдя из «зоо», он смешался с толпой, затерялся в ней. Небо стало тяжким, предгрозовым.

... А день наступил ветреный, солнце еле угадывалось в голубеющей водяной дымке, и к мосту (гигантскому, недостроенному) с открытого моря близилась яхта. Она кренилась, переваливалась на волнах. Надстройка была провалена переломленной мачтой. До фотографирующихся на мосту (успешный экзамен, шампанская пена, все растерянно улыбаются на ветру) донесся взрыв смеха, и голос, запевший, скомканный ветром...

16

... В воскресном воздухе царила настолько мелкая морось, что и не морось даже -- молекулы воды. Ты шел просторными улицами провинциальнейшего из городов, где прошло твое детство и ранняя юность. Шел откуда-то со стороны трехэтажной, из серого кирпича, инфекционной больницы, окруженной садом, где рос кустарник и дикие яблони, где стояла беседка, на перилах которой курили блеклые, пожухлые люди в пижамах, болтающихся на них

мешками, и глядели поверх кустарника на последние дома города через дорогу -- почту и общежитие заводского училища, или же в другую сторону -- на котлован больничного озера, в котором ты однажды поймал малька (кто-то из беседки подошел, и попросил удочку на пять минут, и прохаживался с удочкой, оскользаясь на мокрой траве обрывистого берега. И ты почему-то хотел, чтобы он тоже что-нибудь поймал. И он отдал тебе удочку, и посмотрел на пескаря в жестянке, и сказал, что лучше его отпустить, уж совсем мелкий, и вынул из кармана пижамы завернутую в газетный обрывок халву, похожую на комок глины с берега больничного озера. Халву мать после расспросов «кто тебе это дал», выкинула с балкона, и несколько дней, пока порка не забылась, ты видел с высоты пятого этажа серый комок на траве газона...).

Одетым в ту самую черную куртку, в которой прошло уникальное время съемок «Здесь, там, и везде», ты подходил к торцу своего длинного крупнопанельного дома, и увидел идущего невысокого человека, и подумал: «как хорошо, что я нет-нет, да встречаю тебя, хотя ты и погиб множество лет назад». Человек был одет, как одевались все мужчины твоего города, где после работы некуда и пойти-то. В руке он нес гладиолусовый букет, опущенный соцветьями вниз. Курил папиросу. Ты поздоровался с ним так, как вечером здороваются люди, видевшие в начале дня.

- Привет. Куда ты идешь?..

- Да вот, цветы девчонке купил... -- вымолвил он так же тихо.

Двадцатисемилетние, вы шли вдоль дома, проходили пол «козырьками» подъездов. Перед домом тянулись вверх тонкие, недавно посаженные тополя.

- Дай цветы понесу?..

- Понеси...

Ты взял букет и вытянул руку над головой. Идя неторопливым шагом, запрокинув голову, и чувствуя как лицо покрывает невесомая водная пыль, ты смотрел на синие гладиолусы в ауре мельчайшей мороси. Смотрел на цветы, обрамленные небом бесконечного вечера воскресенья...

- А с тобой бывает... мм...как бы выразить... -- Волков пригубил шампанское, -- ну, например, выходишь из подъезда, а везде тень, то есть двор в тени, а солнце бьет из подворотни, или над крышей где-то, как днем бывает в конце лета, ранней осенью, и день такой ясный прохладный, и ветром на тебя подует вдруг, и рябь по лужам пойдет, и травинка закачается, и тут что-то такое защежит-защежит, будто кого-то вспомнишь, странное такое чувство, одинокое-одинокое, и в то же время как будто и радость в нем есть... Ну, не то чтоб кого-то вспомнишь, а предчувствие воспоминания, даже нет, как бы чье-то присутствие в жизни твоей. Хм, запутался совсем.

- Да. Бывает...

Игорь и Галя находились в старом доме поселка, расположенного в сотне километров за пределами города. Игорь любил это место. Он бывал здесь с приятелями. Ему нравилась атмосфера запустения, заброшенности, окутывающая поселок. Когда-то, в конце девятнадцатого века, здесь был кирпичный завод. Кирпичи со смутным оттиском двуглавого орла валялись в просторном лесу, в горбатых переулках поселка. Замшелые же развалины самого завода высились на травянистом холме, близ кладбища. После второй мировой войны в поселке была основана база китобойной флотилии, но потом промысел прекратился, корабли исчезли, оборудование рыбзавода увезли, цеха стояли закоптелые, пустые. На стенах ржавели лозунговые полосы жести (с выцветшей краской призывов) обращенные в сторону океана. О былом процветании свидетельствовала обширная свалка на берегу, состоящая из китовых остьев, из нагромождения костей, из металлических топливных бочек.

Когда-то в долине, вид на которую открывался из окон дома, -- стоял особняк генсека. Возведенный в одну ночь, коттедж был убран как только дни пребывания (визита) его обитателя на окраине империи истекли. А взлетная полоса осталась. Со временем занесенные слоем земли и песка, плиты полосы кое-где серо просвечивали -- в местах где наносы размывало дождями. Полоса поросла остролистой травой. Видимо, накануне прошел дождь -- тут

и там на полосе белели шампиньоны... Игорь снял с себя майку. Солнце припекало, собирать грибы было радостно. Он шел шагов на двадцать отстав от Гали, неся майку, наполненную грибами. Меж холмов, далеко впереди, ликовал океанический треугольник. Теплый ветер волновал высокие травы на склонах холмов.

- Игорь, иди сюда!..

Волков подошел, Галя опустила в майку пригоршню грибов. Ползали муравьи и крылатые мелкие букашки по свежесорванным изнанкам шампиньонов. Игорь посмотрел на близкий профиль и отвернулся.

- А ты найдешь дом старика нашего? -- сказал он.

- Да. Сейчас... Вон тот, -- она указала на один из домишек на далеком холме. -- Видишь, ветровое колесо где блестит на крыше.

Железное колесо (спицы обмотаны медной и алюминиевой проволокой) было установлено на штыре, оснащенном подшипником, и, откуда бы ни дул даже слабейший ветер, оно улавливало его, поворачивалось и вращалось. И проволочные лопасти блестели на солнце и ветер пел на все лады. А если ветер был сильным, то в доме слышалась дрожь напряжения прута.

Но пока грибы жарились на огне примуса, колесо стрекотало еле слышно. Шампанское, привезенное из города, было слабопрохладным. Солнечный день начинал клониться к вечеру. Утомленные от ходьбы, от купания, -- двое за грубо сколоченным столом, -- смотрели в окно. В долине на взлетной полосе теперь расположилось стадо. Свет дня незаметно тускнел, убывал, и незаметно набирала густоту синяя линия над холмами за долиной.

- Шампанское... -- сказал Игорь. -- В голове шум... Отчим мой на Новый год одолжался у меня бутылкой -- недавно вернул. Откуда у тебя шрам этот?

- Не смотри, -- она опустила руку, просторный рукав ситцевого платья опал, закрыв рубец на руке от основания ладони до локтя. -- Это я упала с велосипеда в школе еще. Мы тогда были в трудовом лагере, в Сибири. Недалеко от Монголии.

- Что там за места -- расскажи?

- Там? -- она глубоко вздохнула. -- Там песок везде. Сосны. Там был в бору санаторий туберкулезный. А мы в теплицах работали, нас на

автобусе возили туда. -- Галя улыбнулась. -- Едешь-едешь, ветер постоянный, тучи целые песка носит. Верблюдов видели. Один раз я с крыльца барака, где наши классы разместили жить, видела вечером как вдалеке люди ехали на верблюдах... А возле крыльца была волейбольная сетка растянута, только мы редко играли из-за ветра.

...- Еще -- что там было?

- Каменный пол в умывалке. Там рожь росла, за окном, сразу же, рукой достать можно было. Полоса в несколько метров. Выйдешь босиком в жару умыться -- пол холодный, а в окне рожь и небо синее, горячее, ветер вверху гудит, а рожь не качается. Там сараи какие-то в том месте ветер заслоняли.

- Мне с тобой замечательно... Грустно... -- Игорь взял со стола стакан и долго цедил шампанское, неотрывно глядя в окно.

- Мне тоже... А ты знаешь? -- сегодня магнитная буря. По радио говорили.

- Значит, мы коротаем время, пережидая бурю. Только ее не видно, не слышно...

- Торнадо... -- она чему-то улыбнулась, глядя на шар солнца, касавшийся своим краем четкой линии над холмами. Солнце, заливавшее прощальным светом окрестные небо и землю и стены в комнате утлого дома, было далеким. Далеким.

- Игорь, отчего стены как луна издырявленные?

- Это от древооточцев. Жучки такие -- термиты. Смотри. -- Волков ножом отщепил частицу древесины от стены, и, темный, блестящий и крепкий жучок стал втискиваться в одну из пещер древесного лабиринта.

...Добирались в город в том же самом вагоне одной из тех немногих электричек, останавливающихся у поселка. (Вагон внутри был разрисован углем, исписан названиями футбольных клубов и рок-н-рольных групп. Некоторые «граффити» днем привлекли внимание Волкова.) В догорающих сумерках мелькали платформы дачных поселков и телеграфные столбы. Долго ехали вдоль волнующегося лиловыми волнами поля.

- Где-то здесь то озерцо с синим льдом, но сейчас уже не разглядеть. -- сказал Игорь. -- Жаль, что ты не увидела, когда мы в полдень тут ехали.

Озерцо было величиной с большую лужу. Оно образовалось в результате давней катастрофы на железной дороге, когда перевернулась цистерна с безвредным веществом, содержащим что-то навроде жидкого кислорода. И вещество застыло навеки. Словно осколок неба. В зависимости от цвета всего остального неба, оно бывало и мечтательно-лазурным и безжизненно-белым. В полдень оно было аквамариновым и при взгляде на него -- во рту пересохло. В вагоне у кого-то играл магнитофон. Музыка акустической гитары на фоне синтезатора звучала стремительно-грустно. Радостно-сомнамбулично. После того как электричка вырвалась из города и потянулись осененные увядающими деревьями санатории (на близкой застекленной веранде застыли в танце пары осенних любовников и унеслись) -- Волков чувствовал боль счастья. И, когда появилось и сразу же стало удаляться, исчезать озеро с двумя мальчишками (они лежали на льду, разглядывая что-то такое, там, подо льдом, или внутри него) -- Игорь был счастливым настолько, что счастье на какой-то миг обернулось в свою противоположность, и он отвел взгляд и оглядел вагон, где по лицам пассажиров проплывали тени облаков... Последние полчаса обратного пути ехали стоя в тамбуре -- в вагоне сталолюдно. В тамбуре они были одни, пока не вошел солдат со свертком в руках.

- Спичек не найдется?

Волков чиркнул спичкой.

- Угу. -- кивнул солдат, задымив папирсой.

Электричка въезжала в городские пределы. Все трое глядели в окно, где отражались в свете тусклой лампы тамбура, изредка перечеркиваемые огнями кораблей во тьме залива -- дорога шла по верху обрывистого берега. Стены высокой полыни раскачивались, расступались и смыкались снова. Мелькнул костер, горящий далеко внизу, у ряда дряхлых сараев, стоящих у самой воды.

- Берите, -- солдат протянул сверток. В нем были апельсины. -- Берите, берите..

- Спасибо, мы один разделим. Тебе нужней, -- сказала Галя.

Солдат вынул из свертка еще один апельсин и протянул Волкову.

- Брат приезжал. Проездом. А сейчас в часть иду. Все равно дальше сержанта на КП пронести не удастся, -- он улыбнулся

печально и как-то по-простецки. -- Я и так их всю дорогу ем. Ну, пока дойду, мож еще один съем.

Плоды были тугие, спелые. Их запах в тамбуре полуночного поезда воскрешал позабытое предчувствие чего-то, казалось, прелестного. Воплощал тайну...

18

... Когда в апреле, во второй половине дня, засыпая, или открыв глаза после краткого сна, смотришь на город с такой высоты (над шпилями «высоток и строгими гранями билдингов -- ветер перемещает оранжевые от солнца волны земного праха, среди которых в молчании реют птицы мегалополиса. Линяло-голубое небо -- если лежать на боку -- наклонно простирается к тускло поблескивающему рекой, размытому и задымленному пригородному горизонту, становясь тем бесцветней, чем ближе к нему) -- всякий раз возникает предпраздничное и осиротелое ощущение поминальной субботы...

Такой длительной -- как этой весной -- необъяснимой интоксикации -- ранее не было никогда.

Головокружительная дурнота накатывала мгновенно. Дошло до того, что я ожидал рвоты с какой-то радостью, потаенною, муторной. Все закончилось, когда, бесплотный и сострадательно-счастливый после особенно затяжного токсичного приступа, я увидел в лужице желчи на дне эмалированного таза мелкие растения, похожие на водоросли, налипающие на подводные камни. Я долго тогда лежал, шевеля пальцем эту черно-зеленую, с трубчатыми листиками, флору, пока не вспомнил, где же я совсем недавно видел точь-в-точь такие растения. В зоомагазине, где я купил рефлекторную лампу и яйцо черепахи.

... Солнце сокрыли слоистые белые облака, плывущие над городским центром, приняв очертания оледенелого архипелага, пока я, глубоко и ровно вдыхая холодящий воздух (в котором слабо присутствовали и пары отработанного автомобильного топлива, и аромат весеннего тлена, и кисловатый запах желудочной слизи) лежал обеззараженный и бездумный. Да и зачем мысли, если эти -- в

облаках -- отражения Земного (запаздывающие? опережающие?), эти доносящиеся на исходе каждого часа симфонические заставки «прогноза погоды», эти разноцветно-бледные ракеты прощального салюта, такие приветливые и ненужные, колеблющиеся над глубоко затонувшим в океаническом дневном свете весенним городом -- быть может, не что иное, как неторопливое и плодотворное размышление погруженного в сомнамбулический транс Божества...

19

О, осенний футбол!.. Мяч после удара летит высоко в синем небе над песчаным, насквозь продуваемым бризом берегом и приходится бежать, задрав голову, успевая подумать: «А ведь вправду, скоро зима», -- прежде чем, подпрыгнув, перепасовать мяч головой. Или же; отбегая спиной вперед в ожидании длинной передачи, видишь на скалистом холме -- высоко и далеко -- одиноко бродящего человека, и мелькнет: «Интересно, какими он нас видит...». Солнце этих дней уже не слепит глаза и все предстает четким, близким, зыбко-уравновешенным. А когда все устанут бегать, приятно еще некоторое время просто пересылать мяч друг другу, болтая о всякой всячине. Иногда, перед тем как отдать пас, немного «пожонглируешь» мячом.

- Нравится тебе, Жек, работа новая?

- Ты знаешь, Тим, ничего работенка. Прихожу на радио, беру у вахтера газеты, быстро просматриваю, карандашом обведу что читать буду -- ну, чтоб краткая информация была.

- Политика? -- спросил Волков.

- Нет, я только прогноз погоды, да спорт иногда. Сначала по планете погоду сообщаю, потом про погоду в Москве и в городе. -- Женя засмеялся. -- Правда, в первые разы было: как только эфир дадут и лампочка загорится. Мысли всякие лезут -- а вдруг какую-нибудь гадость как крикну в микрофон. А хорошо, что я сегодня отработал. Вроде только что на радио был и уже здесь. В студии свет такой приятный, у операторов в кабинке аппаратура всякая, суета.

- Здорово, -- сказал Тимоха. -- Так ты кто у нас теперь, комментатор?

- Ведущий программы «Радиогазета».

- Ух ты, не слабо.

- Тим, на фабрике тебя уже рассчитали? -- спросил Гоша.

- Ага. Вчера. Директор премию выписал. Служи, говорит, то-се, после армии ждем тебя опять. Я сразу с премией в магазин -- и ребятам пару бутылок выставил. Весело распили.

- А день уже известен? -- сказал Нелюбин, отпасовав мяч и уходя к камням, где была сложена одежда.

- Нет, еще комиссия будет, там скажут. Скоро.

- Тебе б хорошо пристроиться где-то на коровнике, знаешь, есть такие коровники, свинарники при больших частях, -- сказал Гоша. -- Там всегда народу мало и начальства не бывает месяцами.

- Или в музвзвод. Я месяца два был в музвзводе -- хоть высыпался как человек. -- Нелюбин озабоченно отряхивал песок со своего черного, «дикторского» костюма.

- Да я, наверное, столяром где-нибудь буду. Что, мы уж уходим? Может, посидим тут? Я у мамки бутылку выпросил. Вчера с ней ходили по магазинам -- на провода закупали. Закуски вон пакет.

- Посидим, Тим, посидим, -- сказал Волков. -- Давайте костерок, хотя б маленький, сделаем. Просто. Чтоб был.

.....

... После на троих выпитой бутылки холод воды был вполне терпимым. Уже начинало смеркаться, солнце зашло за скалы, море было темно-синим, а в небе ровно чередовались розовое и голубое. Ветер ослаб. Волны были медленны и широки. В море, невдалеке от берега тянулась мутно-белая полоса. Плывущий то «вразмашку», то «по-собачьи» -- когда надо было взбираться на вершины волн, -- Тимоха подумал о белой полосе, о молоке, о морских коровах, и недодумал эту мысль и оглянулся. Гоша, на корточках, грел над догорающим костром ладони, Женя держал над огнем прут с наколотым на него хлебным ломтем, другой рукой жестикулировал, что-то рассказывая Гоше. Тимоха хотел помахать им и некоторое время удерживался на месте, возносимый и роняемый, спиной к набегающим волнам, потом, на миг разочаровавшись, поплыл дальше. «А страшно», -- радостно подумал он. Озноб уже прошел, телу было горячо. Он обернулся еще раз когда выплыл из пределов тени, отбрасываемой скалами на море. В центре оранжево-дымных

кругов само солнце казалось совсем небольшим и катилось над оголенным, со множеством вороньих гнезд, лесом, сквозь который тускло белели окраинные дома. Тут, на волнах, как только тень осталась позади, Тиме показалось, что пространство вдруг раздвинулось, стало бескрайним и хлынуло **столько** вечернего света... Костер меж скальных камней обратился в массу углей, похожую на это солнце и силуэты друзей расплывались в сгущающейся мгле под скалами. Скоро Тимоха доплыл до яхты, на борту которой было написано: Марина (центр океанологии). Никем не замеченный, Тимоха находился под длинным, красиво изогнутым носом. Он выждал, когда волна вознесла его вверх и схватился за якорный канат. Костер на берегу разгорелся с новой силой. Искры далеко разносило ветром, Волков и Нелюбин ходили по берегу, собирая все то, что могло гореть. Висеть, по грудь в воде, держась обеими руками за канат, было очень холодно, но передышка была необходима. На яхте раздались приближающиеся шаги, голоса, музыка -- кто-то нес с собой приемник или магнитофон:

... Time after time... -- сорванным высоким голосом пропела «белая» блюзовая певица и барабан веско ударил, и тарелка звякнула, и саксофон взвыл.

Тимоха чувствовал себя превосходно. В голове шумело, все в мире вздымалось, качалось, ухало в бездну, зависало и взлетало. Кто-то на палубе засмеялся. В воду шлепнулась порожняя пивная бутылка. Голоса на палубе смолкли.

... Time after time... -- заходила певица в экстазе горя, слышны были ее резкие, гибельные вдохи после спетых фраз. На палубе что-то зашипело, будто шар, готовый лопнуть, но в который все вкачивается гелий. Зашипело... и Тимоха увидел, как оставляя белорозовую извилистую траекторию, в небо вертикально уходит ракета, с отстающим отрешенным гулом. Гулом возрождения и небытия... Где-то там, в глубинах небес, что-то кратко вспыхнуло. «Метеорологический зонд, кажется», -- подумал Тимоха. На палубе снова засмеялись, заговорили. Тимоха отпустил канат и поплыл к берегу, вслушиваясь в летящее ему вслед, но звучащее навстречу, в сердце, в упор:

... Time after time...

20

... И в свой день рождения, в последнее лето тысячелетия, он вновь встретился со своею любовью... Поехали с приятелем далеко за город, где в недавно отстроенном здании еще не открытого санатория проводился аукцион скульптуры, картин. День был солнечный и прохладный, в просветах меж деревьями мелькала синь моря. Дорога была пустынна, и придорожные заведения, где они наскоро подкреплялись или выпивали по рюмке -- тоже. Внутри павильонов ветром вздымало скатерти на столах.

Санаторий белел на берегу, возвышаясь над рыбацкой деревней, у домов которой сидели на лавках старики, в пыли возились чумазные ребятишки, и по обочинам дороги, шедшей под уклон, паслись коровы. На дороге несколько подростков были увлечены игрой: один, в кругу остальных -- дразнящих, хохочущих, -- раскручивал над головой веревку, привязанную к хвосту неестественных размеров дохлой водяной крысы, и, раскрутив, выпускал из рук. Если крыса, летя в непредсказуемом направлении, кого-то задевала, -- тот, задетый, под возбужденный вой плелся в центр круга и все шло сначала. Когда автомобиль проезжал мимо ватаги, -- крыса скользнула по ветровому стеклу. Можно было увидеть ее рыже-пегую, в пыльных сосульках, шерсть. Подростки стояли на дороге, глядя вслед машине.

После первой части аукциона и «легкого ужина», который был просто-напросто скверным, всем собравшимся было предложено погулять, отдохнуть в номерах санатория. Впереди, в программе вечера, был вновь аукцион, концерт, и фуршетный банкет. Оставшись один (приятель куда-то делся еще в начале аукциона), он лежал на кровати одноместной палаты туберкулезного санатория и видел себя в настенном зеркале, где отражался в безумном ореоле закатного пурпура, и слышал, как над селеньем весомо и неторопливо перемещается ветер...

Он проснулся когда уже вовсю шел концерт, сделанный силами местной самодеятельности. Когда, после выступления доморощенного иллюзиониста, детского хора и красавицы-

танцовщицы, что с потрясающим мастерством исполняла фламенко (был момент -- показалось, что она вот-вот заплачет от лютой злобы и тоски под звуки неумной гитарной смуты), ведущая объявила следующий номер: барочные пьесы и вариации на тему песни «По воле ветра», -- он понял **кто** сейчас выйдет к фортепиано (хотя ведущая назвала другую фамилию). Во время исполнения музыки он один среди собравшихся выглядел истым ценителем музыки.

На фуршете она подошла к нему, одиноко стоящему с бокалом шампанского у стола, познакомилась с мужем. Радостно сказала, что им повезло купить единственную его, шедшую с «молотка», работу. За разговором об искусствах, погоде, общих друзьях, ее муж быстро и сильно охмелел и ушел, поддерживаемый ею, по коридору. Он увидел, что номер, в который они зашли -- соседний с тем, где он спал. Минуту спустя он сидел в темноте на кровати в номере, куда захватил шампанского и прислушивался. Слышалось: рвота, звяканье ложки в стакане, стоны, и звуки ее -- утешающего -- голоса.

В ту ночь он поговорил с нею, с минуту (также как и на банкете -- о том, о сем) -- когда услышал в продуваемой ветром наступившей тишине, что открылась балконная дверь их номера. И он вышел на свой балкон... Но послышался стон и она скрылась в номере, выбросив едва прикуренную сигарету, -- «всего тебе хорошего».

... Утром трещала голова и он вышел в буфет взять что-нибудь выпить. Среди буфетной сутолоки была и она, но заметив друг друга, они отвели взгляды и он почувствовал, что эта встреча была лишней... Потом он пил вино, сидя в проеме балконной двери, дул свежий ветер с моря, дымно-туманно-голубого от брызг сталкивающихся, теснящих друг друга волн, и в тени было приятно, хотя сквозь сорочку немного знобило. На залитом полуденным солнцем асфальте перед входом в санаторий стоял туристский автобус, готовый к отправке. Он видел ее -- у окна, голова мужа покоилась на ее плече. (Вспомнилось: «решили в город съездить» -- сказала она на балконе). Она, что-то рассказывая, улыбалась...

Допивал вино долго, солнце уже освещало балконный пол, грело босые ступни. Когда вышел -- стояла тишина в здании, буфет был

закрыт. В вестибюле у сторожа узнал, что рейсовый автобус ушел еще утром, следующий завтра.

Снаружи было очень солнечно. Думая о том, как может получаться такая центробежная пустота в груди, он вышел на длинную узкую улицу с домами, стоящими на едином стенообразном фундаменте с отметками уровней давних приливов, и увидел, как темно-синие воды заходят в улицу, тяжело отступают, и продвигаются еще дальше... Он взбежал на террасу харчевни, когда волна омыла каменные плиты нижних ступеней, вымочив до колен брюки. По террасе мимо него пробежали с криками восторга несколько парней-подростков, и среди них он узнал двоих из тех, вчерашних. На другой стороне улицы, по плоскости фундаментной галереи бежала такая ж пестрая компания. Крыса со шлейфом веревки перелетела через поток и шмякнулась на бетонные плиты. Бегущие на миг остановились, кто-то поднял «снаряд», и, привычно крутнув им над головой, отослал назад. Все -- и с той и с другой стороны -- взახлеб смеясь, выкрикивали ругательства, вскидывали руки в непотребных жестах. Развеселая процессия продвигалась вместе с приливом. Крыса несколько раз падала в воду, не долетев, или влипнув в стену фундамента, и каждый раз кто-либо прыгал за нею, и, рискуя быть накрытым, унесенным волной, ухитрялся ухватить веревку. Еще до того, как крыса шлепнется у его ног, он, уже полностью мокрый от брызг, почувствовал себя втянутым в азарт опасной игры. Вместе с другими, младшим из которых он «годовался в отцы», во всю глотку матерясь и выкрикивая от переполняющего восторга все что ни попадя, он отступал вглубь улицы, раскручивал веревку с тяжелой, навпитавшей воды, крысой, и со вдруг замирающим дыханьем следил за ее траекторией. На террасах ряда харчевен для туристов -- равнодушно шлепали по мокрым плитам толстые, на ходу лениво интересующиеся происходящим, кухарки, посудомойки, и он чуть не сбил плечом одну -- с подносом грязной посуды. Он не успел выговорить слов извинения, как веревка оборвалась и крыса полетела над улицей в сторону моря, и исчезла в потоке, и раздался выдох всеобщего разочарования, сменившийся возгласами изумления -- в начале улицы в волнах ныряли бледно-серые плавники касаток... Однако через несколько секунд их как не было.

Но пауза была краткой. Кто-то из парней, озаренный вдохновением нового игрища, спрыгнул на мокрую от схлынувшей воды уличную дорогу, и в стойке боксера, осыпаемого серией ударов, принял на себя натиск водяной лавины. И она отбросила его, отфыркивающегося, и, уже встающего на ноги, протащила -- под смех -- дальше по улице, и отступила.

И только он, на стене, увидел, как касатка высоко выпрыгнула из воды, там, где улица впадала в море, и всею тяжестью блестящего длинного туловища упала на электрические провода -- близко от столба с керамическими катушками изоляторов на перекладине. Вспыхнул сноп искр, возникло облако кровавого пара, и рыба, вялая и скучная, соскользнула-перевалилась с проводов в море, и из привинченного к одному из столбов динамика, вещавшего только в дни объявлений о началах и концах отечественных войн, вылетела, огласив побережье, латиноамериканская румба... Парни, один за другим мощью волн испытывали меру собственных сил, и все были отброшены, и он, чувствуя уже не буйство восторга, а разреженную как грозовой озон немоту триумфа, и сам спрыгнул вниз, и, держа руки со сжатыми кулаками перед лицом, сжавшись, набычась, пробыл так мгновение, а потом изумрудная толща ударила в грудь, ноги оторвались от земли, в позвоночнике что-то зазвенело и едва не лопнуло, и, в момент сомкнувшейся над ним зелено-голубой тьмы, он ощутил в паху импульс любовного акта, и волна протащила его по острым камням сельской дороги. Вставши, в потеках грязи по белой рубахе, за пазуху которой набились мелкие камни, он шатаясь отошел к ближайшим ступеням стены, зная, что он еще раз встанет на дороге, если никому не удастся удержаться. Он сел на верхней ступени над стремниной, и, переводя дыхание, увидел рядом с собой чью-то тень. Пестро наряженная старуха, отстав от стада туристов, запечатлевала происходящее любительской камерой, щерясь в удовольствии от зрелища. Сняв очередное поражение, она направилась к микроавтобусу, стоящему на вершине улицы, дальше восходящей в пологий холм.

Один из парней, неимоверно худой, кадыкастый, в одних только шортах (верней, в джинсах с оборванными штанинами), весело что-то крикнул, прыгая на дорогу, и выкинул в похабном жесте, руку в

сторону налетающей громады волны... И, сидя на ступеньках (парень на дороге стоял -- в профиль -- как раз напротив), он, покрываясь мурашками, увидел, как пролетели хлопья пены, тонкое лезвие гребня, и затем весь монолит волны, и... остался за спиной человека (тот лишь сделал пару шагов назад, и, приветствуемый ревом ватаги, оскалась в улыбке, занавешенной стекающей с волос пленкой воды, воздел вверх руки со сжатыми кулаками).

Парень не успел добраться до ступеней, а он уже бежал вослед за старухой. Он еще не догнал ее, как она испуганно обернулась, увидев, как недоуменно перекошились лица людей, ждущих ее у микроавтобуса. И, вытащив из кармана рубахи бумажник с раскисшими деньгами, он, задыхаясь, выпалил, схватясь другой рукой за ремешок камеры, висящей на запястье старушенции «вот деньги... возьмите... пожалста... камеру... продайте... камеру...» И все загалдели, теснее сплотясь, но слегка отступя назад, и смуглый крепыш-шофер выскочил из кабины, и надвигался с гаечным ключом в руке, а старуха, мертво вцепясь в ремешок, хлопала округленными глазами, и, отшвырнув бумажник, он стал вырывать камеру обоими руками, и в конце концов замахнулся «да отдай же, тварь!», и ремешок лопнул, и старуха села на траву, и он сам, едва не упав, уже бежал, а шофер, помешкав, стал помогать старухе подняться.

И, сбегая вниз по дороге, он отыскивал взглядом -- среди горстки перемещающихся фигур, там, внизу, на фундаментных берегах аспидно-синего океанского потока под уже чуть покрасневшим на западе небом -- того кадыкастого, надеясь, что если не этот, то кто-то другой сможет повторить трюк. Он ускорял бег и услышал свой краткий счастливый смех среди голосов ветра, поющего в полете на волне ликующего латиноамериканского танца...

21

... На рассвете дремлешь, укрытый овчиной, что впитала в себя запахи смертного пота и пота зачатий нескольких поколений. Жесткая шерсть покалывает тело сквозь исподнее, надежно сохраняя тепло твоей жизни от холода поздней осени. А на черную, жирную грязь деревенской дороги слетают белые мухи первого снега.

В бесприютных далях мертвого поля покачиваются сухие былинки, и где-то там занимает собой сажени остывающей земли -- опустелый английский танк. Допотопный, нелепый, увиденный впервые. И в тишине, по улице деревни, мимо окон дедовского дома бесшумно проносится единорог в развевающихся, спутанных лентах пожара. Снежинки опускаются на навозную жижу скотного двора, а ты, ученик выпускного класса, одетый в «школьный» костюм, осторожно ступаешь, выбирая место почище, посуше, боясь запачкать туфли, и заглядываешь в дверной проем хлева. К потолку подвешена еще дымящаяся, свежеванная баранья туша, а твои дед и дядька курят, сидя на корточках, глядя на снегопад, и молча улыбаются, когда ты предстаешь их взорам. С близкой окраины деревни доносятся звуки аккордеонов -- догуливая свадебную ночь, танцуют пары в недавно отстроенном сарае с еще слезящимися смолой стенами. Твоему приятелю не досталось пары, и, грустный, он обнял шею смирной лошади, и, медленно покачиваясь в танце, смотрит в осеннее поле, над которым грают вороны, что-то выискивая среди жухлой, присыпанной снегом, ботвы. А в пыльном сумраке чулана тоненько свистит ветер, лиясь в стенные щели заодно с бледным светом. И по углам паутина -- как пятна извести. А на полке, среди подсадных уток, патронташей, скомканных солдатских рубах с мировых войн, среди почернелых пчелиных сот и закопченных окуривателей -- в мерцающем круге своего ореола рубинно зарделась беспечальная вещая птица...

22

Александр смотрел на дождь из окна палаты. (Его все-таки положили на несколько дней на обследование.) Асфальтовые дорожки парка были красно-желтыми от покрывшей их -- за три дня тайфуна -- палой листвы. Шквальный ветер бушевал всю ночь, грохотал шифер на крыше, неистово шумели деревья, ливень барабанил по карнизам и сквозь непогоду слышались пронзительно-парадизные крики поездов дальнего следования, набирающих ход, уносясь вглубь континента.

А утром ветра не было. Ливень стал монотонным иссякающим дождем, небо светлело и от этого было какое-то затаенное чувство то ли утраты, то ли ожидания чего-то необыкновенного. Саше вспомнилось, как год назад, в такую же морозящую долгим дождем субботу, он ездил в районный поселок. Возил щенка к ветеринару. Но на прием он опоздал, и, дожидаясь обратного, проходящего через Луговое, автобуса, гулял по поселку. Пил квас в привокзальном киоске, купил билет в кино, читал объявления, наклеенные на ржавой афишной тумбе. После фильма вышел из клуба -- дождь кончился. Щенок со сломанной лапой, помещенный в сумку, тихо шебаршился. В кармане пиджака лежал подмокший хлеб и Александр скатывал шарики из мякиша, и, запуская руку в сумку, совал их собаке в пасть. Выглянуло солнце и Александру подумалось тогда, что день-то ведь еще не закончился. Он дошел до окраины поселка, спустился по мокрому изумрудно-блестящему травянистому склону к берегу водохранилища, смотрел как удят плотву, пескарей и прочую мелкую рыбу...

За окном раздался треск мотора, и, в метре от Саши, по асфальтовой дорожке проехал Тимоха на малоцилиндровой мотоциклете. Он ехал на небольшой скорости, поглядывая на окна верхних -- второго и третьего -- этажей. Александр отворил окно, но Тимоха уже скрылся за углом, оставив тонкий, витиеватый и сизый -- словно облако папиросного дыма -- шлейф бензинного чада, от которого свежесть мокрой осенней листвы и послештормового эфира казалась почти нестерпимой. Саша, высунувшись из окна, прислушиваясь к стрекоту мотора (уже по ту сторону корпуса), глядел на перебаламученное море. В оптически-ясном пространстве иссякающего ненастья виднелась угольная баржа. И от ее, далекой, присутствия почему-то сжалось сердце. Когда Тимоха вырулил вновь из-за того же угла -- Саня помахал ему. Мотор взревел. Тимоха взял полную скорость и под самым окном затормозил.

- Садись! Прокатимся!

Саше не следовало бы уходить из палаты (близился врачебный обход), но он оглянулся на дверь, и, как и был в шлепанцах и полосатой пижаме, сел на карниз, затворил окно, спрыгнул на асфальт.

- Давай я тебе куртку дам.

- Давай. Только быстрее уедем, а то сестры увидят -- наругают.

С возвышенности далеко были видны промышленные окраины, серебристые баки нефтехранилища, лес с развалинами «царских» казарм на обрыве, море и пустые пляжные городки. И все это вибрировало от тряски, подлетало на ухабах. Видно было, что в центре дождя уже нет. Процеживая слабый солнечный свет, тучи там - клубились. Тимоха запел во весь голос. Саша подтянул было песню, но, никогда в жизни не певший, он застеснялся себя, и, касаясь щекой мокрого тимохиного свитера, песню -- шептал. И при этом видел себя как бы со стороны -- заштрихованного черточками дождя, несущегося на заднем сиденье мотоцикла над вспененным морем, и с зачарованной улыбкой шепчущего песню...

Когда ехали по берегу, по каменистой дороге, море обдавало брызгами прибоя. Вода, мутно пенясь, шипела. Берег, вплоть до самой дороги, был усеян охапками водорослей. Несколько коров, лежа на мокрой гальке берега, меланхолично жуя, взирали в просеиваемый дождем кристально-серый простор. На одном из пляжей был открыт павильон. В полутьме одинокий посетитель читал газету за столиком у окна. Пахло древесным дымом, жареным луком. Весело пылал огонь в жаровне.

- Здравствуйте, а я думал вы уже закрыты давно, -- сказал Тимоха.

- Привет, Тим, -- ответила женщина за стойкой. -- На днях закроемся до весны. Отошел сезон. Кофе?

- Ага. «Второе» какое-нибудь, я обед проспал.

Посетитель с газетой вышел и Тимоха с Александром сели за этот, пожалуй, самый уютный столик. Запотевшие стекла павильона слезились. Согревшись, Саша снял куртку.

- У тебя что, пижама на голое тело?

- Ага, -- ответил Александр, сосредоточенно поглощая картофель с жареным мясом. Слышалось тихое звяканье посуды на кухне и монотонный шум дождя и перекачивание гальки в шипении прилива.

- А у вас спиртное что-нибудь есть? -- спросил Тимоха.

- Коньяк.

- Замечательно. По «пятьдесят» два, пожалуйста.

- Я вам в кофейные чашки налью, у нас безалкогольное заведение.

- Мне, наверно, нельзя, Тим, -- сказал Саня. -- Мне сегодня или завтра кардиограмму будут делать.

- Ерунда. Это только на пользу. Скажи тост.

Александр серьезно посмотрел Тимохе в глаза и сказал:

- За тебя и за меня и за наших друзей и за море и за музыку и композиторов и певцов и писателей хороших.

- А художники как же, -- засмеялся Тимоха, -- ну, балерины там разные, профессора, крестьяне, космонавты?

- И за них тоже.

Облачность, видимо, стала совсем тонкой -- в павильоне посветлело. Звон посуды -- на кухне и в мойке -- стал явственней.

- Расскажи что-нибудь, Тим.

- Что бы тебе рассказать такого? Вот в армию уйду.

- Страшно? -- сказал Саша с набитым едою ртом.

- Да нет. Как-то странно. Не верится. -- И Тимоха огляделся по сторонам: посмотрел на море за стеклом павильона, на мокрые серые пляжные лежаки, волейбольную площадку. -- Дни какие-то длинные, что ли стали. А неделя проходит -- будто мелькнула...

- А если ты попадешь... ну, в горы в эти?

- Да навряд ли. Оттуда и войска уже скоро все уйдут. По радио слышал. Сколько тебе еще в санатории быть?

- Дня три наверно.

- Скучно?

- Нет. Я книжку читаю. Эдгара По.

- Я читал такую.

- Там рассказ -- как людей живыми, случалось, хоронили. Ну, эпилептиков всяких. Как они там просыпались в гробах потом.

- Да, потрясающий рассказ.

- Я когда читал -- подумал: вот бы сейчас радиосигнал изобрести. Передатчик. Если проснешься в гробу, чтоб можно было дать знак людям.

- Хм. Так ведь, говорят, что в мертвушке все внутри вырезают у человека.

Саша, помолчав, промолвил:

... - Жаль, я про это и не думал.

- Да, это было б изобретение...

- Как Женя поживает?

- Вот непогода пройдет -- поедем на острова. Он какой-то фильм хочет снять на любительской пленке. Меня. Тебя. Гошку. Сестру свою.

- Про что фильм?

- Он читал сценарий, -- Тимоха рассмеялся. -- Но я ничего не понял. Абстракция какая-то. Олени, осьминоги, дирижабли, обезьяны, флаги. В небе взрывы какие-то. Пантомима, автомобиль старый. Мотоциклетка. Вот эта самая, скорей всего.

- А мы что там делать будем?

- Тоже я не понял. Ну, он там на островах и оленей -- снимет. Обезьян -- в зоопарке. А где дирижабли достать?

- Это неважно, -- сказал Саша. -- Неважно, что снять вместо дирижабля. Главное -- подразумевать его. Наверно.

- Там еще сны. Огнемечик ходит. Небритый. Улыбается. Поет. Ждет чего-то. День такой задумчивый. Музыка. Какой-то маленький человечек, навроде эмбриона, спит на лопасти пропеллерной. А самолет в небе летит, а по берегу ангел, то ли архангел идет, я этого совсем ничего не понял, и на воду переходит потом.

- Грустное кино.

- Да почему? Мы с Гошкой смеялись.

- Не знаю. Грустное.

- А ничего, если я покурю, можно?!..

Женщин а за стойкой, протирая полотенцем тарелку, посмотрела на Тимофея, и, после паузы, сказала:

- Почему нет?

Солнце, наконец, выглянуло, и, ставший золотым дождь, окончательно иссякая, зашумел горячо и нетерпеливо. В павильон, шумные и веселые, вошли вымокшие до нитки рабочие, забивавшие досками на зиму окна и двери тира, «проката», пляжного фотоателье (Тимоха и Александр, проезжая, видели их, понурых, под дождем). Задвигались стулья, раздался смех. Море, там где на него падал свет вечернего солнца, стало лазурным, радостным. Мокрые лежаки и деревянные столбы волейбольной площадки влажно заблестели. Окреп ровный западный ветер, разгоняя остатки облачности закончившегося шторма. Как-то так чувствовалось в тепле павильона, что на улице -- ветрено...

- Давай еще что-нибудь возьму, а, Сань?
- Сладкое что-нибудь хочется.
- Там конфеты есть. По яблоку еще возьму. Сейчас.
- Тебе бывает, Тим, как будто вдруг становится пусто-пусто?
- Да нет, пожалуй, -- Тимоха хмыкнул, пожал плечами, и продолжил, улыбаясь, и почему-то снова оглядываясь вокруг: -- Все время радости ждешь. Хотя и так радостно. И все равно ждешь. Не получается не ждать.

23

... Помнишь? -- после вечернего заплыва (я в тот вечер глубоко нырнул и открыл в воде глаза и было жутковато: темно, и мохнатые стебли водорослей касались тела) -- мы разлеглись на остывших камнях запустелого берега. Тусклая половина солнечного диска отбрасывала ступени отражений в виде шевелящихся овалов на плавно закругленные гребни невысоких, частых и ленивых волн. Думалось о некоей музыке, подобной таким вот винного цвета овалам на фиолетовом, на лиловом...

Бросив в меня камешек, ты сказал:

- Смотри...

Я приподнялся и сел, и, чувствуя, как отпадает сор, прилипший к мокрой спине, смотрел на зрелище, знакомое по картинкам юмористических газетенок: в миле от нас -- корма военного транспорта почти вертикально стояла над водой и уходила вниз, убывала незаметно и стремительно, как и тогдашнее дымно-пурпурное, мемориальное солнце.

Слышался лишь спокойный плеск волн, мягко ложившихся на берег. Было очень тихо. Веером от корабля расходились черные точки -- головы пловцов. Взмыла сигнальная ракета, оставив застывшую, чуть колеблющуюся траекторию. Зеленая, ракета долго висела-погасала в близком небе, покачиваясь на зыби воздушного штиля.

От огарка кормы отделилась шлюпка, вторая. Ближний из нескольких людей, плывущих прямо к нашим камням, уже брел по грудь в воде, словно знал, что здесь долгая, пологая отмель. Когда он приблизился настолько, что можно было различить его лицо, я

подумал, что никогда не видел настолько спокойного и усталого выражения.

Он брел по колено в воде -- почти наголо стриженный парень в кальсонах -- когда остановился, отдыхая, не мигая глядя на нас.

24

Было б как-то лучше, если б ее увез пароход и ты следил бы с утеса за дымком, исчезающим за горизонтом, или, если б она вознеслась ввысь на воздушном лайнере и осталось бы осеннее поле твоей невестребованной любви, продутое ревом турбин, схожим с ураганом вечности перед воцареньем тишины и забвенья. Поле, и капли с белого неба, и в небе просветы лазури... А получилась такая история, что появился невесть где пропадавший человек и она ушла к нему жить, здесь же, в городе, на довольно-таки близкой окраине.

Теперь для тебя одного -- музыка в ночных такси, несущихся вдоль побережья, а ты пьешь из горла водку или «шампань», и шутишь с таксистом, а в голове -- центрифуга, и, чтоб удержаться, ты отводишь глаза от пролетающих за окном корабельных огней во тьме океана и утыкаешь взор в бугристый затылок «шефа». Или, если грандиозный закат -- тебе одному надвигающееся предчувствие распахнутого неба, полыхающего арсенала, ощущение апокалипсиса как хэппи-энда, и ты делаешь «шефу» знак, он тормозит, ты выходишь из такси, и попиваешь, покуливаешь, облокотясь одной рукой об открытую дверцу, другой -- о крышу такси, и говоришь:

- Вот это закат, да?

И «шеф» удивляет тебя:

- Садись, вон тот холм обогнем -- еще не та панорама будет.

Тебе одному -- все три разговора со священником на колокольне собора, и все три -- в свежие дни с тяжкими тучами, цепляющимися за крыши, деревья, мачты. Тебе одному -- горечь вдохновения в минуты трезвости. И откуда ж эта радость ожидания глобальной катастрофы?.. Наверное, с того утра, когда состоялся перевод времени с летнего на осеннее, тог бишь «зимнее». А ты ничего об этом не знал, и то была единственная ваша ночь. Был детский сад (приятель попросил отдежурить, отсторожить за него с вечера с

вечера субботы до утра понедельника). Была бутылка шампанского, которая «ударилась» тебе в голову после нелепейшей ссоры в результате объяснения в любви.

Бутылка почти опустела, когда она сказала:

- Я все равно тебя обожаю, даже если это ошибка, то, что ты мне сказал. Иди сядь ко мне.

- Да нет, давай ты.

И после долгой паузы ты услышал:

- В этом вся твоя любовь.

И ты с усмешкой сказал (что-то иное имея ввиду):

- Как бы **дал** сейчас.

- Да? Ну-ну...

И ты встал из кресла, и взял из ее руки кружку, и поставил на стол, и все это было легко, но происходило как не с тобой, и когда она ахнула и закрыла лицо руками, а твоя ладонь вдруг стала горячей -- в сердце что-то оборвалось, и, оказалось, что за окном гудит ветер, и где-то стучат часы, и каплет вода в умывальник... Порывалась уйти, ты не пускал, закрыл входную дверь, лепетал что-то в духе «ну хочешь тоже ударь меня», и, когда лицо твое горело от полученных затрещин, а она от гнева все хорошела и ветер в ее лице нарастал, и все это было -- глаза в глаза, и ты подумал (а голова моталась из стороны в сторону) что-то про этот ветер, который только и есть -- в лицах по-настоящему смелых людей, или красавиц, чья красота... и тут ты отступил на шаг и сказал:

- Мм. Мне больно...

Нереальная ночь... Потом она долго бродила в темных залах и оттуда порой доносились считанные пианинные звуки. Когда она появилась, в ее руке была ваза с печеньем.

- Слушай, какое он вкусное. Попробуй.

- Вкусное.

- Тут есть душевая? У нас в доме отключили горячую.

... Ты сидел в сухом и теплом подвале детсада на ступеньках и слышал как шумит вода в бойлерной. Ты подумал «она ж забыла полотенце» и держал его в руках -- полотенце приятеля. А тусклая лампа была в решетчатом колпаке, и время шло, и вода за дверью

шумела, и шум был каким-то горячим, и хотелось тут, на ступеньках, съежась, провести многие годы, если б не чувство вины, но занавешенный водой голос за дверью позвал твое далекое-далекое имя, и ты вошел, и сначала в горячем тумане ничего не было видно, и ты стоял, и смотрел на конусообразный водопад в центре бойлерной, и сверху, с облупленного потолка, с переплетений труб, опутывавших как лианы, все помещение, капала, созданная из пара, вода, а по-над полом извивались белые струи ледяного воздуха ночи, сочившиеся сквозь забитое досками оконце. И в каскаде воды она улыбалась тебе...

А утром лиловое рассветное небо сгустками алело в далях, листва деревьев бесшумно ложилась на асфальт, на немых перекрестках мигали светофоры. Ты провожал ее и вы шли по улицам, где не было ни людей, ни машин, ни трамваев. Главная улица простиралась на милю вперед -- сначала под уклон, а потом плавно вверх. В просветах меж зданий стили корабли в бухте -- тоже молчалие. Слышались ваши шаги, их эхо. И дыхание, пар которого этим утром стал явственней.

- Отчего так: светает, а ни души вокруг, -- сказал ты. -- Одни мы.

- Потому что был перевод времени. И потому что воскресенье.

- Как будто всех выселили перед чумой или цунами, а мы и не знали.

Ты остановился завязать шнурок на ботинке, и, перед тем как догнать ее, смотрел ей вослед.

- Эй!... -- вдруг обернулась она. -- Гляди...

На другой стороне бухты, по шоссе, петляющему по подножьям холмов, почти не слышно стрекоча, что-то двигалось и -- пылало, и языки пламени, отрываемые скоростью от объятых огнем движущегося средства, отлетали, отставая, извиваясь, и зависали в воздухе, погасая. Ты взял ее за руку и она не отняла ее, и вы провожали взглядами горящий объект, что скрывался за мертвенно-белеющими многоэтажками, и выныривал, продолжая путь, и исчез за холмом, и тишина стала целой.

- Что это?...

- Кажется, мотороллер, с фургоном.

Рассвет ширился над морем, надвигался на бледно-фиолетовый город, чьи крыши и верхние этажи уже алели в холоде утра.

Вернувшись назад, ты уснул, а когда проснулся -- был догорающий день. И ты пил чай в сумрачной кухне, а за окном шумели, качались деревья под северным ветром и светило предзакатное солнце. И потом ты расставлял посуду, наводил порядок, закрывал, вставая на подоконники, хлопающие окна во всех просторных залах -- и везде возникали, восставали сжимающие горло пейзажи в потоках ветра и солнца...

25

... И ветер пасмурного дня десятого века шевелит волосы на голове старика, окруженные побитой короной из белой жести. На его лице, лице морского скитальца и умелого воина -- глаза как два пещерных озера. Чисты и печальны. Он видит дельту реки на восточном крае земли, куда он дошел с остатками каравана парусных лодок, движимый неутолимою жаждой браги открытий. Мириады островков в лохмотьях тумана -- насколько хватает зренья... Можно разглядеть тростниковые челноки обитателей этого края.

«... И мы поняли -- нам никогда не завоевать землю с таким странным пейзажем...» -- звучит голос этого старого человека, в моей голове мешаясь с музыкой, такой же тихой, небывалой и сокровенной, как и вид водного пространства с островками, образующими, верно, каббалистические письмена -- о, если б увидеть их сверху, в полете, обхватив шею исполинской птицы...

И старик шевельнул губами -- сказал о возврате домой, не зная, что там, на родине, было большое наводнение...

И я вижу золотой купол королевской башни, возвышающийся над океаном -- купол и все. Воды уже успокоились и прибывать перестали.

Итак, всю страну покрыла серая вода, всю, кроме купола на розовом основанье с парой длинных узких бойниц. Такая спокойно горящая стеариновая свечка...

Но утонул и дракон. И его туловище, покачиваясь под толщей воды, тянется по винтовой лестнице башни, по ее переходам и перекрытиям. Он так и не добрался до двухлетней дочки короля,

которая играет на полу с тряпичными и соломенными куклами при бледном свете дня, льющемся из бойниц. И эта девочка -- моя сестра Анастасия, Настька, и это тот день, когда мне не разрешили взять ее на елку к нашей родне из-за слабого здоровья, и я, уходя, обернулся и увидел ее под наряженным новогодними шарами можжевельным кустом, чихающую и играющую себе в свои игры...

26

... Вечернее стадо прошло, прохрустело по влажным от минутного дождя камешкам хуторской дороги. Однородное звяканье жестяных бубенцов оросило окрестный эфир мимолетной, забытой скорбью.

Немолчно гудит телеграфная линия, чьи серые столбы тянутся вдоль дороги. Ветер волнует травяное море заливного луга за близким загоном конюшни. Явь -- столбы телеграфа, стебли травы, пара лошадей, невесомо носящихся в пространстве загона, искалеченный тарантас, увязший в размокшей навозной жиже, отражающей хмурое небо с изжелта-малиновыми прожилками заката -- все кажется фотографически-крупнозернистым.

На скамейке у дедовского дома я сижу с тобой рядом, мой давно умерший друг. Я положил руку тебе на плечо, а ты рассеянно оттираешь ладонью капли дождя со своего лица. И отчего-то я знаю: что б ни случилось -- не струшу...

И в мире разлито блаженное и томительное предчувствие счастья, надежды, тревоги...

27

Забрали Тимоху в армию. В день, означенный на повестке, он не явился в военкомат из-за гриппа. Только через несколько дней друзья тихим вечером проводили его. Деревья уже облетели, вечер был тепел, тускло светило солнце. Мать, лишь вышли из подъезда, заплакала, и Тимоха уговорил ее вернуться домой. Набор уже закончился, у военкомата было безлюдно, стоял автобус, в нем

сидели трое обритых наголо парней. Это были студенты, которым дали возможность досрочно сдать сессию.

- Ох ты, а я-то так и не постригся. Гошка, как у того звание?

- Прапорщик.

- Товарищ прапорщик, это самое, а ничего что я не пострижен? -- спросил Тимоха у военного, курившего на крыльце.

- В части сержант пострижет, -- мрачно ответил военный.

- Да, радости мало. Знаю я эти пострижки, -- сказал Женя. -- Слушайте, а может еще успеем в парикмахерскую? Долго еще стоять будем?

- Нет, пусть садится. Сейчас шофер придет.

- Слушай, Тимошка, пальто жаль твое. Давай я тебе куртку дам, а пальто -- вернешься -- доносишь. Шикарный демисезон. Матери твоей отнесу.

- Ага, давай, Жек. Да ты сам его носи лучше. Я ж приду вот такой вот закачанный, ха-ха.

Из военкомата вышел шофер, сел за баранку, хлопнул дверцей, крикнул прапорщику:

- Вперед?!

- Секунду, дайте проститься, -- сказал Гоша. Вынул из карманов стакан, бутылку с остатками водки. -- Давай, Тим, из стакашка, а мы из горла добьем ее.

- Ну, давай, Тимош, думай про нас и все будет хорошо, -- сказал Женя.

- Это вы думайте про меня и письма пишите.

Выпили.

- А, забыл на проводах сказать тебе. Хорошо что вспомнил. Смотри. -- Волков вынул спичечный коробок, достал из него две спички, одну обломал. -- В армии часто придется на спичках жребий кидать. Видишь, длинная спичка всегда чуть вперед выдается. Запомни. Длинная -- вперед, обломанная -- назад.

- Ух ты, здорово. Ну все, прощайте, прощайте...

Тимофей обнялся с Женей, потом с Игорем, и, заскочив в автобус, сел на заднее сиденье. Автобус тронулся. Друзья шли вслед...

Автобус спустился вниз по улице. В центре города была «пробка». Близился юбилей города -- круглая дата -- репетировалось торжественное шествие духовых оркестров. Грустный Тимоха зачарованно смотрел из окна как над площадью реет «кукурузник», рассыпая поздравительные листовки. Бело-голубые, они весело порхали в воздухе, опускались на асфальт, на деревья, на бескозырки матросов-оркестрантов, слетали в руки прохожих. Одна легла на крышу авто рядом с автобусом, и Тимоха разглядел на листке: якорь, перевитый цепями, имя города, и над ним -- юбилейная цифра. У него сжалось сердце, когда он увидел как Гоша и Женя неспешно идут по улице. Один -- глядя под ноги, другой -- озираясь по сторонам. Ему отчего-то стало жаль их. Он кинулся открывать окно, чтобы крикнуть им что-нибудь дурацкое, бодрое, но автобус дернулся, все двинулось назад, поплыло, помчалось...

Через полчаса город был позади. Глядя в белый иллюминатор окна на волнистую линию сопков, за которыми в фиолетовых сумерках остался пребывать все более удаляющийся город, Тимоха подумал: ... И как же... Да ладно! Я же буду их вспоминать.

Он достал из авоськи бутерброды. -- Эй! Как тебя? -- спросил он у впереди сидящего парняги. -- Давай перекусим. На. Тут у меня куча всего.

- Перекусим, -- сказал парняга.

28

... То, что Анастасия, моя сестра, может любить некоего человека, никогда мне не приходило на ум, и не пришло бы, если б не привиделось, как она стоит у окна (верней, у стены -- близ окна), и прощальный свет ветреных, облачных сумерек падает на приподнятое к небу лицо, и она смотрит на единственное дерево, что видно ей из окна пустой, полутемной аудитории художественной школы. Дерево, высящееся лишь одной своей кроной, с последними, чудом удерживающимися на ней листьями, над двадцатиэтажным, сплошь стеклянно-бетонным зданием. И ветер дует, и ветви, качаясь, исчезают, но вновь восстают над крышей...

А я -- из окон комнат, подъездов, и других мест, где случалось пережить тоску и непогоды своей жизни, почему-то смотрел всегда вниз, обреченно надеясь, что та, кого люблю, вдруг да появится, случайно проходя по земле или асфальту пространства, данного моему взору...

29

... Я был в том же твоём макинтоше, когда, находясь в грузовом самолёте (какие до сих пор ещё можно увидеть на аэродромах провинциальных авиалиний и в близком, подоблачном небе), сутулясь, вышел из кабины, и, отвернув колесо, герметично запирающее овальную дверь, вошёл в грузовой отсек, освещённый солнцем, падающим за край пустыни. И стенообразная пластина трапа слегка приотворилась -- настолько, что можно было схватиться руками за её край, и, подтянувшись, смотреть в образовавшуюся щель, часто мигая из-за натиска ветра. И дыхание захватило от восторга тайны при виде простирающейся от горизонта до горизонта каббалистики руин ветхозаветного города, заматаемого волнами темно-розовой пыли. И подумалось, что вид руин не такой уж и древний. Ещё я что-то подумал про «самый порог нашей эры».

И пилот за штурвалом -- запылённый, небритый и горбоносый, время от времени пьющий из плоского термоса, иногда убирающий (почти что сцарапывая) со лба липкие волосы -- не произнося ни слова, не напевая, щурит глаза безмолвно и оптимистично.

30

Друзья неторопливо прогуливались вдоль набережной. Темнело. Вечер был тих. Солнце катилось над линией горизонта. Нелюбин припоминал сегодняшней (второй по приезду с островов день). Пребывавшее в чистой прозрачной воде памяти пережитое, увиденное, беззвучно проплывало перед взором. В голове шумело тем шумом, который исчезает, если подумать о нём. (Так, бывает, шумит в голове по-осени, особенно в больших городах, когда ветер

где-то вверху, а ты возвращаешься в сумерках к себе, а день был большим и разным, было много лиц и пейзажей. И голоса людей и гул транспорта кажутся долетающими из другой страны, и кажется: огни города на самом-то деле тебе лишь мерещатся, несбыточно грезятся.) С Гошей они ездили на электричке в пригород, в психиатрическую лечебницу -- навестить Ильяса Зинатуллина. Но день был не приемный и они оставили санитару авоську с апельсинами для Ильяса и вышли. На обратном пути электропоезд остановился посреди хлебного поля и долго стоял, и двери открылись, и немногие пассажиры спрыгивали с вагонных ступеней, бродили по зрелому полю, а хмурое небо было иссиня-лиловым. За полем простиралось море и дул ветер, и рвал белый лоскут (вымпел? нательную рубаху?) с шеста, торчащего в одной из черных пирамид на угольной барже, примерно в полумиле. Разразился ливень, когда шли от вокзала по крутой улочке с зоомагазином, тем самым, где гошин брат вчера, в день отъезда домой, купил черепаху, и Гоша сегодня стоял у коробки, в которой ползали, натываясь друг на друга, черепахи, освещенные нерезким и теплым светом рефлектора... Под ливнем опрометью мчались через дорогу к кофейне. В кофейне происходило кришнаитское собрание. Невозможно было пробиться к стойке. Длинноволосые кришнаиты, многие во всем розовом или белом, нестройным хором пели «Харе-Рама» и звучали экзотические барабаны, и кофейный запах мешался с запахом сырой одежды, мокрых волос и каким-то восточным благовонием. И гошина знакомая -- полная брюнетка -- подошла к ним (Волкову и Нелюбину), и завязался разговор, и она достала записную книжку, и высчитывала сколько воплощений было у души Волкова (чтоб выяснить это, нужно было лишь назвать год, месяц, день рождения), затем -- у души Нелюбина. Потом Игорь сказал дату тимохиного появления на свет. Подытоживая, Стелла сказала:

- Ну, что... Примерно одинаковый возраст души. В каждом из трех случаев -- это последнее, ну, может быть, предпоследнее воплощение. От десяти до двенадцати раз души были на Земле. В третьем случае, вполне вероятно, и больше.

Когда она тараторила все это, глядя в блокнот, -- постукивала авторучкой по кофейному блюдцу. Безрадостный Нелюбин

отсутствующе смотрел на татуированного пегаса на запястье Стеллы. Татуировка была изящной, отлично выполненной.

... И полновесные апельсиновые шары, и хлебное поле, над которым перехватывающий дыхание ветер носил неумный мотив человеческой песни, и вымпел на угольной барже, и черепахи в струящейся теплоте искусственного света, и татуированный символ вдохновения, и люди, бегущие под дождем, и сам дождь -- все излучало боль. Она фосфоресцирует, хроникально моросила, и оттого все увиденное сегодня выходило за пределы своих очертаний...

А потом ливень угас и часа полтора было солнечно и ветрено. А затем и ветер стих. Закат догорал. В спокойном море было пустынно. Героические клубы облаков плавно скрашивались тьмой. По мере приближения ночи голоса прогуливающихся становились ближе и глуше. Вдалеке, у причала, сиял, переливался огнями теплоход, источающий усталое счастье вечернего джаза. Синяя мгла неба обнимала море и землю. Оранжево-алый закатный клин на горизонте -- острием вниз -- горел, горел, словно исковерканный папоротниковый цветок или костер на ветру, и лениво вздымающиеся валы волн дробили, передавая друг другу, его отражение. Кто-то, обгоняя Волкова и Нелюбина, чиркнул спичкой, на ходу прикурив, пряча огонек в глубине ладоней. С моря подуло, деревья зашумели, и опять стало тихо.

- ... Ты меня не бросай, слышишь...

- Конечно, -- слышался обрывок разговора, когда друзья миновали парочку, сидящую, обнявшись, на парапете. Море мирно и невнятно плескалось. На одной из скамеек расположилась компания. Гитара было зазвучала перебором, но смолкла. И вино плеснулось в стаканах -- на скамейке «чокнулись», и кто-то уже почти невидимый, лишь смутно, вблизи, светлеющий лицом и одеждой, вздохнул обремененно и благостно.

Все отболело. Наступило успокоение. Но Нелюбин знал -- сердце полно непреходящей печали. Так в отсеки, трюма и каюты врывается лавина воды и уже ничего не поделать, и все кипит и бурлит, но спустя некоторое время наступает спокойствие и в заполненную

водой кубатуру кают льется рассеенный свет. На перевернутые кресла, на ночные столики с оставленными впопыхах ручными часами и драгоценностями. На застывшие, едва шевелясь, в невесомости, -- газеты, ассигнации, фотографии...

31

... Голод кончился. Заработали магазины, продуктовые лавки. Открылся кинотеатр и заходили трамваи.

... Просторно, чисто, малоллюдно. В небе над городом мечтательно плавает музыка. Это служащий в радиорубке здания городской управы транслирует в эфир записи с пластинок. Дни стоят тихие, пасмурные, но рассеянное тепло солнца пробивается сквозь белесый облачный слой. Поздняя весна на исходе и черные ряды голых деревьев вдоль тротуаров стыннут, цепенеют в выжидательном напряжении, пред тем как разрешиться юною зеленью краткого лета.

Приехав сюда поработать над стихами песен, я снял комнату в старом одноэтажном доме: высокий потолок, люстра с подвесками, округлый письменный стол у окна. Стены, двери и оконные рамы недавно выкрашены бело-голубой краской. За окном комнаты -- деревья фруктового сада, слабо пахнущие известью, такие же черные, нагие, как и деревья на улицах города. В просветах меж деревьями видна площадь, в центре которой стоит каждодневная цистерна с бесплатным хлебным квасом, а за площадью видна река, и на другом ее берегу, за ивняковыми зарослями -- нанайская деревня. Хозяйка дома, пожилая смуглая женщина с влажно сияющими глазами, в разговоре все время -- словно грезя -- обессиленно улыбающаяся, сказала в сумерках:

- У них там особенно много погибло.

Но когда я на следующий день смотрел в окно -- я видел как рыбаки спускались к реке т один из них нес на плече лодочный мотор, как по деревенской дороге проехал трактор, как носился мотоциклист из конца в конец деревни, как развевалось на ветру белье. Раздался негромкий стук. В комнату вошла хозяйкина дочь (когда в день

приезда я увидел ее, -- защемило сердце, будто от воспоминаний, которые вот-вот придут, нахлынут...

- В отца пошла, -- в сумерках улыбалась хозяйка. -- У меня из той деревни муж был.) и битый час девушка путано рассказывала как сильно ее любил кто-то когда-то. Работая с утра, я наконец-то (а пребывал я в городке уже не меньше недели) испытывал состояние трудно-сдерживаемой судорожности вдохновения. Она сидела на диване, закинув руки за голову, и, рассказывая, глядела то в потолок, то в окно. Она была в белом платье, которое я много позже назову в песне «европейским». Я сказал, что мне нужно сходить за сигаретами, что скоро приду.

Накрапывал дождик, когда я вернулся вечером к себе. Упорядоченный хаос комнаты был нарушен.

- Мне кажется, кто-то у меня был. Окно оставалось открытым. Вы ничего не слышали?

- Нет. Что-то пропало? -- спросила хозяйка.

- Сейчас, я посмотрю еще раз.

- Это я. Я просто смотрела ваши листки и инструменты. Мне хотелось побыть здесь, пока вас нет, -- тихо, почти шепотом, сказала дочь, и, отольнувшись от дверного косяка, вышла. Было слышно как блуждает в окрестном небе мелодия романса, как разбиваются капли о стволы деревьев, как шелестит платье в сумраке коридора, как звучат половицы под легким весом жизни, уходящей босиком в вечернюю прохладу дома...

32

...Полеты... -- после того как лежа лицом к стене, царапаешь ногтями штукатурку во тьме ночей, словно тот сержант, с которым провел трое суток в камере гауптвахты. Он был медбратом в санчасти. Делал себе инъекции морфия, а в опустошенные «индпакетные» ампулы впрыскивал воду. Измученный непреходящей ломкой, он ждал трибунала, так же как ты, изламываемый абстиненцией памяти, торопишь Судный день.

Но солнце, но ветер этих полетов... Над поселками из низких бараков, прилепившимися к исковерканной земле... Над дымящимися

бензинной, пороховой, органической гарью котловинами едва отгремевших сражений (кто-то внизу -- удивленный, забытый, далекий -- подымался из лужи собственной крови)... Над океаном, когда падаешь камнем и полы парусинного макинтоша натянуто и дробно трепещут над головой, и, коснувшись ступнями воды, ты пробегаешь, разбегаешься по остриям волн, снова ныряя ввысь... Над раскаленной пустыней, где всадники в белом, отставая, швыряют горящие головни вслед уходящему -- вознося тебя в прохладу небес -- монгольфьеру... Полеты над Городом, когда тот целлофановый мешок, в который ты вцепился, вздымает тебя над тополями (ты видишь как серебрится в бухте вода) и затем роняет тебя, и дух захватывает, и ты, едва касаясь ногами асфальта, бежишь по воздуху, а под тобой, встречу тебе, идет белобрый конопатый мальчишка, катя велосипед в гору, и пригибает голову, а мешок утаскивает тебя в небеса, и душа разрывается от счастья, и успеваешь помыслить: я запою... запою что-то лучшее, что и есть -- я...

И во всю силу легких поешь... И просыпаешься в слезах счастья, и они обсыхают, а в окне серость утра, и одежды полета лежат на полу у кровати, и тебя опутывают несвежие простыни, и от песни ни звука. Лишь память о пении...

33

Наверное, должен был пойти снег, но чудом нашлось у природы каких-нибудь полградуса тепла... Утро было холодным, с неба тек дождь. Не успевший поесть, Нелюбин опаздывал. Он шел под зонтом по сумеречным улицам города, чувствуя телом тепло только что отглаженной рубахи. В центре города былолюдно, сосредоточенно, город спешил на работу. Но в переулке ведущем к больнице было пустынно, и дождь обволакивающе шумел, и корявое дерево, росшее на асфальтовом тротуаре, нежило в струях свои безлистые ветви, мохнатые, словно корни. Нелюбин подумал: хорошо бы сейчас не спешить, а погулять по таким переулкам, -- пошарпанным, вымокшим, линялым. Идти и зябко кутаться в плащ, сберегая тепло, и

слушать ливень, и припоминать сны, и думать о всяком, и тихо петь, кого-то любя, во что-нибудь веря...

Он опаздывал. «Но если там не будет никого и я быстро сдам кровь и если дождь не кончится, то до Радио я смогу идти не слишком торопясь», -- подумал он.

В коридорах клиники было пусто.

- Вы уже знаете, что один скончался в больнице? -- спросила медсестра, обвязывая руку Нелюбина жгутом.

- Да.

- Еще девушка и пожилой мужчина в реанимации. Их, наверное, спасут. -- Кровь медленно наполняла склянку. -- Вы их лично знаете?

- Нет, они с телевидения. Я их только в лицо видел. Мы в разных зданиях.

- Сегодня уже двое из Радио были. Это из-за гололеда, наверное, случилось?

- Да, говорят, из-за гололеда. Машину занесло.

.....

- Всё. Вату еще подержите. Пройдите в ту комнату. Чаю попейте, отдохните.

В обеих комнатах было очень прохладно, с потрескивающим гудением горели яркие люминесцентные лампы. Нелюбин бросил в таз присыхающую к месту укола вату, одел костюм, плащ, отпил из приготовленного другой медсестрой стакана с приторным чаем, откусил печенье, и почувствовал дурноту, и попрощался с медсестрами, и вышел, едва не забыв снять бахилы из белой ткани, одеваемые поверх обуви.

Он прошел весь переулок, стараясь держаться ближе к стенам домов. Он остановился на углу -- переулок выливался в панораму площади.

... Конный памятник на фоне понуро мокнущих кораблей в серой бухте, лужи на площадных плитах, перевернутые отражения несчастных прохожих («час пик» схлынул). Все было сверхъестественно четким, чистым, стерильным. Небо струилось отвесным дождем на море, на город. Прошое отсутствовало. Панорама площади, и дождь, и воды бухты, и мокрые крыши, и исчезающая вдаль, в водяном мареве, электричка -- было только это, и это пребывало всегда.

Навсегда... Из пальцев что-то выскользнуло. Это было печенье, надкушенное, раскисшее. Нелюбин посмотрел на него и увидел себя в черном зеркале асфальта и вспомнил о зонте, забытом в углу кабинета, и пошел дальше. Он шел, иногда прикасаясь пальцами к сырým камням стен, открывая свой город. «Вот тут Тимоха в детстве нашел монету -- полтинник». Монета лежала на дне лужи, превратившейся в слой льда, и восьмилетний Тимоха долбил лед каблуком ботинка, и опоздал в школу, и его выгнали с урока, а когда он прибежал опять сюда -- монета исчезла... Нелюбин проходил мимо школы, в которой учился Тимоха. За одним из забрызганных дождем окон первого этажа в полутемном классе у доски стояла учительница и декламировала стихи, и ее рука взмывала в такт строк, и она глядела в окно, выше прохожих, выше деревьев. Это ее Нелюбин видел не так давно. Она шла по аллее парка, был листопад и солнечно, и она шла впереди, и остановилась, и достала сигареты из дамской сумки, и чиркнула зажигалкой, и пошла гораздо медленней, и рука с сигаретой описывала плавные длинные дуги -- жесты наслаждения от привычки, скрываемой, наверное, не меньше чем полдня.

Теперь аллеи этого небольшого кругообразного парка, при поворотах головы, блестели, разбегаясь из центра, словно велосипедные спицы. Сдача крови в клинике была не четверть часа тому назад, а века, века, с кем-то, о ком что-то знал ли когда-то, слышал ли, видел во сне... Это кто-то другой входил предшествующего числа в комнату спящей девушки на закате и садился на ее кровать, и одетым прилег к ней, когда она, дремотно улыбаясь, потрогала его лицо. Кто-то другой смотрел на зеленую точку -- огонек приемника, в котором хрипели и булькающе свистели зыби радиоболот, пока в комнате, заполненной клубящимся светом ветреного заката, легкие горячие руки расстегивали рубаху. Кто-то другой думал тогда о том, доколе ж возможно хранить память об образе той, которая отсутствует здесь уже множество дней. А тот, кто сейчас шел, неглубоко затягиваясь сигаретой, взятой из-за дождя в горсть, измученно радовался, зная, что будет хранить память вечно. И это не когда-то, а именно сейчас писатель с другого континента создавал

короткий стих о том, как дождь «струится по твоему лицу. И поэтому я люблю дождь». А в том вон сером доме с красной дверью, далеко внизу, почти у кромки прибоя, и находился, в сегодняшнем сне, -- бар «Сицилия». Ты заходил туда с нею, но то была не она -- всего лишь поразительно похожая на нее. И ты тоже был другой -- каким ты станешь (если все и дальше будет идти так же прекрасно, и горько, и странно, и радостно) через несколько лет. Все поменялось местами: и несколько лет разницы в возрасте (они стали теперь твои), и пропорция чувства. Теперь ты можешь удачно, просто сногшибательно остроить, и хотя она лишь беспомощно невпопад улыбается, ты знаешь, что юмор -- блестящий. И небо над морем розово-белое, словно то яблоко на синей клеенке, и ты с усмешкой делаешь бутерброд: ломтик хлеба, ветчина, сыр, зелень. И кладешь его на ладонь и протягиваешь ей.

- Закуси спиртное, а то голова закружится.

Но стемнело, и волны угрюмо набегают на берег, и становится все прохладней, и ее уже нет, и ты, развалясь на стуле, смотришь в даль, озаряемую факелом морского пожара. Остаешься абсолютно один. Остаешься наедине со своей жизнью, со страшной тоской при мысли: «а если все-таки это была она», наедине с шевелящим волосы, леденящим дыханьем прибоя, и с некоей, неясных причин благодарностью...

А Тимоха и те трое студентов, ведомые офицером, подошли к одной из казарм гарнизона, и офицер оставил их у входа, и вошел внутрь помещения узнать о свободных койках, и там задержался, а ночь тут, куда ехали пять суток на поезде, теплее, чем в оставленном городе, и слышится немолчный мерцающий звон кузнечиков в сухих травах степи, и далекие горы рисуются волнами на фоне неба, осыпанного толченым стеклом звезд, и из полумрака казармы доносится сквозь форточку тихий гитарный звон и надтреснутый, гордящийся своей горечью голос:

«Позабудь свои печали
И лети в заоблачные дали
Перелетная птица...
Перелетная птица

Эту боль мы разделим с тобой на двоих.
Грустно думать что в мире
Ничего не случится
Если ты не услышишь
Песнопений моих...»

И после нескончаемой сутолоки общего вагона, Тимохе в сиянии этой ночи все видится необыкновенным... А у этого кафе -- снилось летом -- за белым пластмассовым столиком под пестрым тентом (сейчас лишь одни скелеты каркасов, покосившись, ржавеют, ржавеют...) Отче наш пил кофе, полистывая городские «Новости», время от времени провожая взглядом трамваи, или озирая бессолнечно-аквамариновую, краесветную, исполненную прозрачности панораму взглядом завсегда, навестившего после долгой разлуки заведение, где любил бывать с друзьями, с возлюбленными, а больше всего -- в одиночестве: все слишком другое, и все-таки -- все как «тогда»... А когда поднимаешься, в тепле и в тишине по лестнице в студию «Радиогазеты» на шестой этаж -- видно в окна как падают вниз то тускло-зеленые, то бледно-алые, то прозрачно-черные капли. Это размывает дождем рекламный плакат нового фильма, укрепленный на стене верха Радиоцентра. Но о плакате не вспоминается, просто -- наблюдаешь, медленно поднимаясь, за траекториями меченых капель. Ливень вдруг попритих, и ветер дует порывами, нес вдаль разноцветные слезы, туда, где только дымно-серое море, и далекие острова в водном тумане -- как доисторические земноводные, спящие, формируясь, в эволюционном предбытии...

А Гоша сидит на табурете в узком, но с очень высоким потолком, кабинете следователя, а следователь сидит за столом, спиной к окну, и лица его не видно, и он почти не задает вопросов, поглощенный чаепитием. А за окном дождь и незастроенные глинистые холмы по ту сторону бухты, и из бухты, медленно и верно продвигаясь, выходит в долгое плавание караван субмарин. Черные, строгие, сейчас они минуют бухту, залив, и уйдут в океан, исчезнут в пучине. Очень хочется спать и это впервые -- когда в подобных кабинетах так спокойно, сонливо, даже уютно, а боль от воспоминаний утихла

настолько, что превратилась в горячее, похожее на алкогольное, ровное тепло смилившейся печали, и по радио поет певец, и все-таки это удивительно, но не странно, нет, не странно, -- как запредельно окреп у него голос в его последние год или два. Наверное можно узнавать по их голосам, как скоро уйдет из этого мира тот или другой, настоящий... А час назад, -- после того как приехала машина и лейтенант с сержантом вошли, и даже дали дозавтракать, и не торопясь одеться, и ввели в зарешеченный фургон, и поехали, -- видел как Настя Нелюбина шла по улице, и остановилась -- вся мокрая, хотя и под зонтиком -- на перекрестке, и машина, заворачивая, снизила скорость, и Настино лицо было так близко... Она его, кажется, не узнала, но стояла, обратясь лицом вослед машине, удалявшейся вниз по улице, все то время, пока ее, Анастасию, можно было видеть... По радио зазвучали очень благожелательные голоса дикторов обзора новостей, следовательно составил посуду на подоконник, убрал еду в ящик, смахнул крохи, встал, прошелся по кабинету, но прежде чем он выключил радио, безутешно-поддерживающий голос, возникнув из наэлектризованной тьмы эфира, в которой тихо, мечтательно задувал отголосок магнитного шторма, устало, оптимистично и обреченно произнес:

- Здравствуйте все, кто меня слышит. Сегодня -- затяжной, временами ливневый дождь на всем побережье...

34

... Послы, генералы, биржевые маклеры, политики всех рангов, военные корреспонденты, инструкторы и атташе, крупье и торговые эксперты -- исчезли...

Ты видишь как порхает легкий снежок над уходящей вниз улицей. Четкая графика деревьев. Вдали, над домами постройки начала двадцатого века, стынет черная вода бухты. Ясно различимы на фоне противоположного, скалистого берега, портовые краны -- словно музейные скелеты ископаемых земноводных -- над ржавчиной кораблей.

На этой улице чаще чем на других можно было встретить, увидеть издалека друзей. Можно было увидеть ее... Ты всегда проходил здесь с учащенным сердцебиением.

И панорама улицы -- тот самый, на редкость сомнамбулический концерт латиноамериканского гитариста. Ни снимка, ни вырезки из газеты, ничего о нем, о музыканте, ты не смог разузнать, не нашел. Но -- сновиденье ль, ландшафт, сигарета -- что-нибудь да напомнит о дыхании его сочинения. И тогда, оказывается, выжженные руины сердца -- это Акрополь под тихим дождем, в час смолкания прилива...

35

В день отъезда Нелюбина в Москву с утра шел мокрый снег. Не спавшему почти всю ночь Нелюбину окружающее казалось исполненным тихой и загадочной значимости, хотя от недосыпания было ощущение песка в глазах. В синеватом сумеречном свете утра он сидел на стуле в кухне, держал в руках кружку с горячим чаем. Сестра, мать и отец находились тут же. Завтракали.

- Может, ты не белую рубашку оденешь. В поезде-то валяться.

- Я потом сниму в купе, мам.

Крупный снег падал на крыши, на обнаженные деревья, на воды залива и острова. Но тут же таял. Женя смотрел на мокрый город под белой завесой, на черные деревья в саду -- на одном из них остались три сморщенные ранетки. Он чувствовал на себе взгляды родных, но не мог, не хотел отвести взгляда от окна. Он увидел как вдали по склону холма подымается Игорь, долго смотрел на него и сказал:

- Гошка вон идет.

- Съежился весь, а плащик-то легонький, да промокает наверно, -- сказала мать.

- Насть, подогрей чайник, мы попьем, да и идти уже, а вы не провожайте, чего мокнуть.

Через полчаса Волков и Нелюбин шли к вокзалу по пустынной, какой-то совершенно гарлемской улице. Слева от них тянулся ряд зданий из темного, бывшего некогда красным, кирпича. Это были цеха кондитерской фабрики. Из окон вырывались клубы душистого пара, пропитанного ванилью. В небе загудело, заворчал,

загрохотало. И снег пошел пуще, ручьи на потеющем крупнозернистом асфальте стали обильней.

- Зимняя гроза. Говорят, к голодовке бывает или еще к чему-то такому, -- сказал Игорь.

- Да ну, ерунда, так здорово. Смотри, карта, -- Нелюбин поднял влекомую ручьем размокшую игральную карту. -- Валет пиковый.

- «Покер». Повезет тебе.

Гром становился все сильнее, сильнее, громче, и вдруг разом перестал, и воцарилась тишина, пахнувшая свежее испеченным хлебом -- к фабрике примыкал хлебозаводской цех. Окна цеха были настежь открыты. Несколько солдат в фартуках поверх расстегнутых сальных «хэбэ» стояли, перекуривая, у окна.

- Теплом как оттуда веет, да, Жек.

- Да. Странно -- и промозгло и уютно.

- Это из-за хлебного духа. Постой-ка, Жень. Эй! Слышь, ребят! Продайте-к буханочку, а?

Один из солдат сказал:

- Сигареты есть? -- Лови.

Игорь поймал горячую ржаную буханку и закинул в окно пачку сигарет.

- Ну, спасибо. Счастливо!

- Потрясающий хлеб, на, Жек, в поезд возьмешь.

Нелюбин улыбнулся:

- Он остынет до поезда, давай съедим, -- и разломил хлеб надвое.

- Как вкусно.... Я сейчас просто зарыдаю, -- проговорил Волков, похрустывая хлебной корочкой.

За углом хлебзавода была трамвайная остановка. Трамвай, в который вошли Игорь и Женя, долго не трогался, и те немногие пассажиры, что были -- вышли.

- Не опаздываем?

- Нет, но минут пять если не поедет, пешком пойдем, -- ответил Нелюбин. Он отщипывал хлеб, лежащий во внутреннем кармане пальто. Тепло ощущалось и через пиджак и рубашку.

Вожатый прошел по улице вдоль вагона и полез по лестнице на трамвайную крышу.

- С этими... с «рогами» что-то, -- сказал растерянный Волков.

С минуту вожатый топал по крыше, потом спустился, зашел в кабину и трамвай тронулся.

- Как странно все, как странно.... -- Нелюбин смотрел в окно. -- И трамвай весь пустой.

- За это я тебя и...ценю. Все как во сне. И с Тимохой. Но с ним не как во сне, с ним просто весело, радостно. Смотри, твою фирму проезжаем, каботажную. И вообще, я тобой доволен.

- Я тоже тобой доволен.

- Слушай, мы можем тут даже покурить, да? До вокзала минуты полторы еще. -- Игорь тихо засмеялся.

- Давай-давай. -- Нелюбин оглянулся. Вожатый не мог их видеть.

Волков опять засмеялся, еще тише. -- На.

Женя дважды затянулся сигаретой и сказал:

- Больше не хочу, -- и опять отвернулся к окну.

Трамвай уже ехал по улице, выводящей к вокзалу. Улица была длинной, шла под уклон, и трамвай набирал скорость, громыхал, громыхал. Холмы города разворачивались, удалялись и вырастали. Окрестные здания сдвинулись назад, вдали появилась черная стрела заброшенной, давно отключенной телебашни, за ней открылась белая башня, новая, но она сливалась со снегом и вырисовывался лишь смутный ее контур. Дом под старой башней тоже был почти что не виден...

Поезд опаздывал. Снег падал, падал. Нелюбин и Волков молча стояли на перроне. Через несколько метров он кончался. Вдали мигали зеленые, красные семафоры, мазутные железнодорожные полотна скрещивались, уходя в захлавленную сиротскую даль пригородного побережья. Недоуменный призыв паровой сирены, где-то там, за рядами пакгаузов, за выбитой каменистой пустошью, оглашал промозглую атмосферу округа. И вскоре хлопья снега уже не кружились -- низвергались с неба по идеальной вертикали, бесшумно и скоро. Московский поезд медленно надвигался в белых потемках полудня.

...И под звуки того же концерта -- малочисленный десант, покинув бледную синеву неба, покрытого перистыми облаками, подобными белопесчаным отмелям в океане, слетает на некогда восставшие, оцепенев на века, каменистые волны пустыни, окаймленной серпантинном холмов. Витаят редкие снеговые крупницы, сметенные с далеких ледников воздушным течением.

И один из парашютов, еще полный трепета неба, еще не polegший на сушу, вспыхивает от твердой, тугой струи пламени. И тускло блеснули баки огнемета на спине неторопливого человека, что переходя от одной каменной гряды к другой, обнаружился и исчез, на миг явив четкий и сосредоточенный профиль, испещренный каплями пота...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

37

К концу «елки» взопрел в дедморозовской шубе так, что пот застил глаза, сочась из-под косматых наклеенных бровей. Голова под шапкой горела, хотя капли, стекающие по шее вниз, казались прохладными. Во рту, облепленном бородищей, было солоно. Но мысли, верней чувства, произвольно облекающиеся образами, были яркими, полновесными, роскошно-печальными. Я уже раздарил подарки (взрослые щелкали «поляроидами» детей на фоне меня) и начал было прощальный свой стишок, но пришлось послушать песенку. Песенка была на португальском. Я смотрел на очень смуглое и в то же время бледное от преизбытка радости и волнения лицо ребенка (девочка, лет 5-6) в центре выедающих мне глаза матово мерцающих кругов. Эта черно-прозрачная кожа -- как вода на дне кимберлитовой трубки... (Трубка выработанная. Алмазы там давно не добывались, но в детстве, в день экскурсии на вертолете, я верил, что смотришь сквозь иллюминатор в эту воду под завесой осеннего дождя -- увидишь сокровище...) А, еще змея. Это десятый класс. Один день каждую неделю ездили на военный (назывался машиностроительным) завод. Практика на фрезерных станках, но чаще в упаковочном цехе. Рогатые мины «начиняться» отправлялись

куда-то в другой город. В тот день до завода доехали, но пошли с другом в лес за кедровыми шишками. Ветрено-солнечный день. Вершина тысячелетнего кедра, пружиня, качалась так, что перехватывало дух (страха не помню) и казалось возможным перепрыгнуть на другое дерево, выждав очередного натиска ветра. Волнующаяся зелено-голубая тайга простиралась до самого горизонта. Была вторая половина дня. Мир звенел музыкой ветра, в которой -- ни единого звука с завода и лагерной зоны (сияли кровли на далеких крышах цехов, да остро поблескивали стекла сторожевых вышек). Так вот, змея. Она струилась по берегу ручья, близ которого развели костер, осмаливали шишки. Тогда у меня не было такого отвращения к змеям. Друг затолкал ее в бутылку с помощью ветки, но вся змея не влезла и хвост свешивался (хотели в бутылке привезти ее в город) и кожа на месте сгиба была черно-прозрачной. В стремительной воде ручья -- небо, приближающееся, наливающееся глубиной, да скользкие темные камни...

... В кабинете, где я переодевался, переводил дух после «елки» и съел восхитительный апельсин -- во всю стену фотография. Панорама Мозамбика. Небоскребы Африки. Вид побережья с высоты птичьего полета. За кабинетным окном -- над крышей просвет в небе. Весенний какой-то просвет. О подоконник звучно дробилась талая вода оттепели. Ах, эти просветы в зимнем небе, когда вдруг пусто, пронзительно, и во всем щемящая юность. И смотришь в небо, а видишь (словно оттуда, с неба, или как будто там зеркало) сегодняшнего себя в залитой отступающим светом дня просторной комнате с бликом на стене. Три часа назад, когда вышел из дому и шел через Рождественский монастырь -- такой же просвет был. Девчонка-послушница сдвигала деревянной лопатой битый лед в сторону, к исковерканному обгорелому автомобилю у монастырской стены, появившемуся здесь после беспорядков. На ходу я услышал -- она напевала песенку про день рождения. Внутри водосточных труб с грохотом осыпался лед. Еще до «елки» успел отбить друзьям телеграммы. Купил магнитофонной пленки в киоске у почты.

... После работы некуда было пойти, и он, скинув кирзачи, сидел на огромной асбестовой трубе, валяющейся в поле неподалеку от забора завода. В общежитие ссыльных, где он прожил уже половину срока, летом он приходил только к вечерней перекличке.

Стоял теплый и тихий ранний вечер с молочными облаками, сквозь которые трудно определить, где находится солнце. Он пожевывал травинку и смотрел в даль поля, которая завершалась голубым серпантинном старых, порушенных временем, гор. Невдалеке тянулась телеграфная линия -- покосившиеся серые столбы удалялись туда, в сторону горной гряды, и провода кое-где провисали, почти касаясь высокой травы. Они монотонно гудели, но он настолько привык к их гудению в этот, двадцать пятый год своей жизни, что оно стало составной частью тишины равнодушного неспешного лета. Кружилась одинокая мошка и он изредка, ладонью, сгонял ее с русых выгоревших волос, или отмахивал от веснушчатого, в пятнах копоты, лица, на котором застыло ленивое и чуть насмешливое выражение свичности с усталостью и печалью.

Послышались голоса -- от ворот завода шли в поле пятеро корейцев-- горнорабочих. Они были веселы, один из них пел на своем языке, видимо, подражая какому-то певцу, все смеялись. Шагали -- кто с буханкой белого хлеба, кто с бутылкой вина. Они миновали трубу с сидящим на ней и шли вдаль.

От одного из столбов отделилась (или встала из травы) тонкая фигура в пестром платье. Горнорабочие замахали ей (голоса почти не доносились) и ускорили шаг, идя по пояс в траве.

Он выплюнул травинку и лег навзничь на слабо нагретой трубе -- подумав о том, что если б вчера хватило денег до бутылки портвейна, то он, может быть, набрался бы смелости и заговорил бы с нею. (Ее, всегда застенчиво улыбающуюся, словно не знающую, что делать со своей юностью, он часто встречал в поселке.) При взгляде в белое небо (где отдаленно блуждали позывные «сигналов точного времени»), в нем, захлестнутом горем музыки слов, почти моментально родилось то короткое стихотворение, которое много лет спустя он прослушал с недоверчивой улыбкой, когда молодой журналист спросил его об обстоятельствах написания «вот этой вещицы» (тут же продекламировал ее).

Он, затруднившийся ответить, стоял, облокотясь о перила террасы дома своего деда и смотрел на волнуемый бодрящим ветром, блестящий на солнце после краткого ливня, заливной луг меж конюшней и заболоченной рощей в низине. А невысоко над лугом, противостоя ветру начальной осени, летела птица, и ее то и дело сносило воздушным потоком, и получалось, что она пребывает все там же -- почти посредине меж деревцами болота и -- проваленной местами -- крышей конюшни.

Когда ж журналист деликатно спросил:

- А что бы вы могли сказать в завершение нашей беседы, -- он ответил все так же глядя в сторону луга:

- Пометьте: интервью вышло именно таким, потому что в воздухе была сносимая ветром птица.

39

Фиолетовым утром в начале зимы стоишь на пятом этаже в ее подъезде и все не можешь уйти, хотя знаешь, что позвонить не решишься. Время идет и за окном светлеет, светлеет. Близится день. Одна из рам остеклена не вся -- на три четверти. И в этот проем ты смотришь на город. А ночью был обильный снегопад, и крыши, деревья, холмы -- белые. На свете чисто и грустно. Ты видишь море над плоской крышей пятиэтажки, стоящей ниже ее дома. Небо над городом ровное, серое, но над морем оно свободное, прозрачное, словно видимое из лазарета, и от него щемит в груди и делается ком в горле. А город борется со снегом: издалека долетает гул снегоуборочных машин, шарканье лопат и скребков по асфальту. Ты куришь и дымок выплывает за окно и исчезает в городском небе, и мелькают талые капли и все так похоже на весну, а ты не одел шарфа, и оголенному горлу хорошо, предболезненно, остро. И, подумав: «А если она все-таки дома? Если выйдет?» -- ты спускаешься по лестнице и идешь в сторону ближнего кинотеатра по улице с растоптанной снеговой грязью на тротуаре. Вот и завлачились трамваи, красно-желтые, ветхозаветные трамваи твоего города -- теперь по брови облепленные снегом Нансены, Амундсены. Вверху трещит, сыплются синие искры и с проводов сваливаются комья талого снега. Ты

встречаешь мимолетного приятеля, и, почти на ходу, обмениваешься с ним анекдотами, и, досмеиваясь, уносишь свою печаль дальше. В кафетерии гулко и малолюдно, и звенят блюдца, и пахнет хлебом и кофе и снегом. Продавщица развешивает в витрине елочные игрушки, а женщина за кассой советует -- где лучше будет смотреться тот или иной хрупкий цветной шар, опутанный серебряным дождем. Стоишь с фаянсовой кружкой в ладонях рядом со стеклянной дверью и в зигзагах между крышами старого квартала видишь белый холм. Не так давно он был зеленый, осыпанный кленовыми листьями. Разлегшись на нем с травинкой во рту, тебе было отлично видно, кто выходит из Института Искусств. И если это была подруга Гали, ты вставал и шел в сторону института, чтоб поравнявшись с нею, поздороваться, потому что знал -- она расскажет Гале о встрече с тобой на улице.

40

... Поздним вечером полярного дня, светящего рассеянным солнцем сквозь плотно задернутый на окнах тюль, мы втроем пьем пиво из высоких узких бутылок -- истинных шедевров стеклодувного искусства. Играем на гитаре.

Когда расходимся спать, я ложусь в этой же комнате, на койке с колесиками, в углу, довольно темном из-за загораживающего свет шифоньера.

... Через недолгое время я просыпаюсь от звонка в дверь. Кто-то из вас пошел открывать, шаркая босыми ногами, щурясь, и почесывая ребра под майкой. После шепота нескольких голосов и звуков снимаемой обуви, входит (за кем-то из вас) она с мужем, и третий с ними -- человек, память о котором я в юности мечтал хранить один, на всем свете -- один. Они ложатся на раскладном диване, почти не раздеваясь, как это делается, когда возвращаешься с вечеринки, и, чтоб не тащиться до дома ночью, решаешь потревожить друзей.

И в идеальной тишине комнаты, пронизанной тонкими пыльными лучами солнца, я, на верхнюю половину неувиденный полуночниками, неподвижно лежу и смотрю на них, спящих (не замечая ее мужа у стены), на эти два профиля, которые я, наверное,

смог бы вырезать ножницами, закрывши глаза, как делал портреты прогуливающих старик с тюремными татуировками на руках, работой которого я был заморожен на Арбате...

41

... И на исходе тысячелетия ты вернулся в свой город после нескольких лет разлуки. Это декабрь. Утро розово-голубое, молодое, и даже чудятся в небе оттенки зеленого. И день настанет солнечный и потекут грязные потоки талого снега, вниз, к морю, и закапают с крыш -- как будто какой-то из дней будущей весны вырвался из будущего года, нового века, и посетил твой город не в срок. И придя с вокзала с чемоданом в руке, ты зашел домой, где все живы, здоровы, и, позавтракав с родными, ты поднялся на холм над твоим домом, и там, забравшись на одну из площадок первой телебашни города, уже с четверть века заброшенной, черной и поржавелой, ты стоял и смотрел на город, прислонясь спиной к чугунной лестнице: а город пуст, и, кажется, так и будет всегда -- сплошное, повсеместное воскресенье. Курится вкусный дымок над крышей твоего дома. Вон внизу движется с холма на холм синяя жужелица троллейбуса, и ты не знаешь, что в салоне (где десяток заспанных пассажиров), звучит кассета твоих песен уходящего года, ты прислал ее другу, а он записал их своему другу -- троллейбусному водителю. И ты не знаешь, что в тире у вокзала, мимо которого ты сегодня проходил, одна из первых и самых любимых тобой самим песен -- звучит, когда стрелок попадает точно в кружочек над жестяной мишенью «динамик». Тридцатитрехлетний, одинокий и праздничный, смотришь на город, а мыслей почти нет, только осознание -- вот, я вернулся, если б я знал, когда последний раз был здесь и насыщал свою душу этой панорамой, сколько мне предстоит пережить и увидеть, и какие создать песни, и каким получится фильм. И, хотя день будет теплым, -- холодок утра просачивается через рукава и входит за горловину свитера, и ты запахиваешь пальто, и засовываешь руки в карманы, думая: каким я буду, когда в следующее возвращенье подымусь сюда?.. И еще осознание: город, а в нем друзья и любви друзей. И в душе все это время витает, воспаряет

мотив, а собственных слов уже и не вспомнить, кроме: «О, ты, мой возлюбленный город! Мерно шествуют ввысь цеппелины твои». И что-то там еще такое. «Как сражаются с бурей твои корабли», и есть что-то про закаты посмертного лета (когда писалась песня, ты и не чаял, что доживешь до скончания века, а вот поди ж ты -- озираешь город и море и небо, а было столько всего, такого, после чего умирать уже не интересно), и кончается песня строкой -- «макинтош, polaroid, крыло»...

А потом ты едешь в трамвае навестить Тимоху и Гошу, и никак не можешь решить кого навестить первым. В трамвае уже полно народу. Ты не взял перчаток, и поручень, за который ты держишься, леденит твою ладонь, а солнечное пятно словно оранжевый шар в индевелом окне, и шар дрожит, увеличиваясь. И воскресный, полный людьми, трамвай, совсем не то, что трамвай в будни -- люди тихо переговариваются, посмеиваются. Вон девушка дышит на стекло и потом ладонью очищает это место от талого инея, и, одев рукавичку, смотрит на предновогоднюю улицу, радостная. И ты смотришь на нее, и дыханье остановилось, когда ты понял, кого она тебе напоминает, но когда она перехватывает твой взгляд -- уже все прошло, ты спокойно и отсутствующе смотришь ей в глаза, потому что ты уже не здесь, не в трамвае, а память унесла тебя в театральную аудиторию. И это осенний, бабьелетний день, и это суббота, и делается генеральная уборка, как всегда по субботам, и гудит пылесос, и стучат молотки, и рок-н-рольно надрывается магнитофон, и пахнет стиральным порошком и мокрыми досками половиц, а ты с приятелем выставляешь из окон рамы, и солнце октября освещает институтский двор, загроможденный рухлядью старых пианино, а та, на кого похожа девушка в трамвае, -- моет стекла, и, неестественно веселый, ты хотя и избегаешь (так же как и она) встречаться взглядами -- чувствуешь, что меж вами что-то существует, чего вчера еще не было, и почему-то ты знаешь, что и она чувствует то же, а через три часа -- кровавый закат с ветром и хладная сталь залива, и небо стылое, чернильное, свинцовое, и листва деревьев стремительно редет, и солнце падает за лес вздымающихся корабельных мачт, флагштоков и труб, и тебе уже не до веселья, когда

ты вдруг обернулся, и, щурясь от ветра, увидел как она переходит площадь перед зданием, бывшим некогда оперным театром...

Девушка отводит глаза и смотрит в окно, и уже нет ветра, а есть гроыханье трамвая и подарочный апельсин солнца в хрустале оконного льда. Через несколько дней Новый год и все будет по-новому. И, хотя когда они, эти дни, пройдут -- будет жаль прошлого века, но сейчас чувствуешь: ты сделал, спел, воплотил и выстрадал все что мог, и эти дни будут бездумны и беспечны. Ты как белый лист, чистый, только с оттисками слов, начертанных на предыдущих листах. А может быть, эти несколько дней и есть самое лучшее время для грез, сновидений, мечтаний?

А по городу уже разъезжают Дед-Морозы в таксомоторах, и днем ты и твои друзья под звуки «Кумпарситы», возносящейся в насквозь пропетое небо последних дней тысячелетья, сфотографируетесь с Дедом на фоне еще не совсем расчищенной от баррикадных завалов, исковерканных автобусов, грузовиков и подорванной бронетехники, улицы обгорелого, порушенного квартала, улицы, уводящей к ликующему в лучах солнца, звенящему битым льдом океану...

42

... И эта дрожащая, дышащая собой, кровавая плацента с белыми прожилками, эта аура, внутри которой -- обхвативший свои колени, недвижно нежащийся в забвении себя кто-то безо всяких одежд, еле различимый в горячем красном тумане (не знаю, то -- сам я, или ты, моя печаль и мое восхищение) -- это любовь...

43

... И в этот раз также все было кончено поздней осенью. Утром проснулся от позвякивания городской пыли о стекло. Долго сидел на кровати, глядя в клубящееся белое-белое небо И в комнате было бело и пусто и голо. И близкий дом уходил своей шершавой и безоконною гранью в заполнившее город своей белизной, небо, пересеченное проводом, и во всем была какая-то обессиленная и затаенная молодость... Но ни на крышах, ни внизу на улицах снега не

было. Редкие прохожие, треплемые порывами холода, спешили, оскользаясь на оледенелых тротуарах.

Когда, встав босыми ногами на пол, подошел к окну и глянул вниз -- всплыл в памяти сон, и, понимая, что все кончено бесповоротно (хотя прислушиваясь к ночному дождю -- во что-то будто бы верилось), стоял, иззябая, и вновь видел этот сон о любви. О любви, как о трех кадрах неба : ... отрок, что замер с ягненком на руках где-то в морозных предутренних тучах... Немо поющее -- с прикрытыми веками -- лицо старика (так путешественник, стоя под Сфинксом, видит подбородок и губы и ноздри -- на фоне закатного неба, исхлестанного авиапетлями)... В солнечной и студеной синеве -- серебряный лайнер. Далекий и неподвижный, как облака под ним, подобные снежной равнине, он преломился, не нарушив тишины неба, и пропал, опустившись под облачный слой. И взгляду в беспечальном просторе остаться уже было не на чем...

А начиналось все -- как и раньше -- в конце весны. Летал тополиный пух, и дни -- то прохладно-равнодушные, то лениво-теплые, с минутными солнечными дождями под вечер -- были проникнуты ощущением каникул. Наступающего Начала Каникул. Наскоро продав по дешевке всю полусотню книг, купил плэйер и каждый день подолгу слонялся по городу. Из кассет были всегда с собою «Небо и земля», «Аббатская дорога» и «Времена года». В один из первых дней лета шел по Тверской. Солнце светило в бледно-голубом небе, просвечивающем сквозь тонкие млечные облака. Близ подземного перехода (напротив «Интуриста»), на обочине сутолоки, испестренной неграми, красавицами, и нищенствующими калеками -- остановился, восторженно-зачумленно озирая мир, преобразившийся мановением пальца, то есть его нажимом на клавишу «пуск». Попытался поймать медленно влекущуюся в воздухе пушинку, но она ускользнула, и еще раз ускользнула, и сама опустилась на раскрытую ладонь, явив предчувствие уже ниспосланного и неумолимо близящегося Дара. Невероятного, неизъяснимого, да вообще-то и незаслуженного.

В июне часто болела голова, не так, как от спиртного или сигарет. Боль была звенящей утомительно-легкой. Как-то раз, загорая в стороне от пляжа (плэйер на море не брал, опасаясь, что могут

украсть во время купания), подставив лицо солнцу, блуждающему в туманном небе, и прислушиваясь к молитве на латыни, доносящейся с авианосца (что зиждился в спокойных водах залива как город, серый-серый. Лишь истребители на палубе, да один из радаров, да матросские шеренги -- были белыми.) -- понял, что сутью этой головной боли является горячее, почти невыносимое ожидание счастья, которое, кажется, и стало счастьем непонятно когда. Слова Евангелия бесстрастно и гулко отдавались эхом в небе, и удалось даже уловить (переведя на русский): «... Истинно, истинно...». Потом молитва закончилась, было тихо, и, листая подобранный журнал, лежа на еле теплом песке на минуту задремал, и, когда открыл глаза и сел на песке -- динамики разносили по округе звучание множества гитар, тамтамов, бонгов, и терпкий дальний голос пел что-то навроде «банделейро-банделайра», и голова кружилась, болела, болела...

Город был полон праздничными матросами и пилотами с авианосца. По субботам, сразу же после городских фейерверков, с авианосца в ночные облака проецировали рекламы сигарет, напитков, и допотопные кинокартины. Но после того как во время фейерверка, в водовороте толпы, озаренной призрачным светом комет, медуз, драконьих хвостов, кого-то с «корабля» в пьяной ссоре пырнули бутылочным горлом, и, на следующий день, ветренный, с моросью, один из белых самолетов поднялся в воздух, унося тело к берегам другого континента -- брезентовые фургоны не застревали в песках ночного неба, и индейцы больше не скакали на приступ форта, пропавшего в расступившихся тучах, и никто уже не объяснялся у коновязи последней небесной заставы при отрешенном гуле отдаленной грозы...

Головная боль забывалась во время любви с подругой своей давней знакомой. И, осязая руками прохладное тепло ее груди, живота, бедер, слушал во тьме своей комнатухи гул города и неотрывно глядел в законный мрак, и, -- шел по дну далеко отступившего пересыхающего моря, видного только узким, черно-синеющим своим горизонтом под ровную полосу заката, и ломкие раковины хрустели под башмаками, и поднимал из белой сыпучей пыли -- древние, в известняке, драхмы, динары. Тяжелые и неровно-округлые, они едва помещались в ладони, и почти невозможно было

разглядеть профили императоров, царей, фараонов... А вдали, по пустыне дна, проходила аборигенская семья в широкополых шляпах, в пончо, и женщина вела за руку ребенка, и слышался только тихий хруст раковин под -- своими -- ногами, и, нарастая издали, мерно учащались стоны... И вдруг -- море распахнулось, искрящееся, зелено-голубое. Оно было далеко внизу, качающееся, необъятное и живое. И в осиянных его пучинах резвился со Дней Творенья -- Левиафан, в чьей серо-мерцающей спине позарастали наконечники гарпунов, а на плавниках развевались, догнивая, спутанные обрывки сетей, да парашютные стропы... И ликующий ветер едва не вырывал волосы с корнем, когда ты высунул голову в проем летательной конструкции...

Когда потом рассказывал ей все это, дыша в затылок (даже в кромешной темноте было видно насколько она белобрысая), и, после долгого молчания сонно произнес: «Что за деньги такие, море сухое, к чему индейцы эти?» -- она вдруг встрепенулась, привстала -- и -- серьезно: «Ну, может, они тебя к себе возьмут, а?...».

Через некоторое время знакомства с ней, отметил, что почему-то, чтоб «пошляться», стал брать с собою лишь « Небо и землю». А когда она уехала погостить за город к тетке -- вдруг образовалось неясного назначения Море Времени...

В один из его дней -- стоял уже август -- зашел в рюмочную, выпил, не закусывая, полстакана водки, вышел на улицу. Долетела песня со строительных лесов -- загляделся на рабочих; как у них там, на верхотуре, на фоне летящего, такого предосеннего неба, спорилось дело. Смех и голоса, доносимые ветром, были радостны, отрывисты и гортанны. Потом листал книги на букинистических лотках, думая о двух незагорелых полосках на ее теле, думая о никелированном браслете, где на обратной стороне витиеватой гравировкой было означено ее имя и группа крови. Думая об осени... Сунув в уши микротелефоны, слонялся предвечерним городом и вышел к обрыву. Море волновалось. Было пустынно и свежо. Каждая волна -- с береговой стороны -- была серой, а с другой -- западной -- блекло-лимонной от заката. Мир был больше, чем есть. Он был прекрасен в ожидании своего свершения. И одинокий рыбак, ссутулившийся в

черном каноэ на волнах -- был апостолом **еще не сошедшего вновь** на землю...

Потом пошли затяжные дожди, и, что-то, верно, случилось, уж очень много было факельных шествий: люди шли хмурые, в чадающем дыме заливаемых ливнем факелов. Иногда округу оглашал удар выстрела, да вой сирены, изымающий душу. И все это, когда шел в наушниках по Тверскому, озирая шапки вороньих гнезд, озирая факелы в лужах, глядя в небо, кропившее влагой лицо, -- напоминало почему-то какой-то то ли «ацетилен», то ли «плаценту».

Как-то сходил к подруге на Страстной -- взял адрес тетки. Но в адресном столе того городка, до коего добирался несколько часов, сказали «такой улицы здесь не было. Никогда не было».

Но однажды -- показалось -- увидел ее... Стоял тишайший, серебрящийся паутинками ясный осенний день. Административное здание, которое некогда являлось оперным театром, окружалось войсками, но попасть в него оказалось просто. Хотя всюду сновали люди -- площадь перед зданием казалась пустынной. Десантные части только-только подтягивались.

Там и сям в рекреациях коридоров мелькали, выбегали из кабинетов вооруженные люди в штатском, -- военных почти не было. И снова было ощущение пустынности. Выглянул из окна на двенадцатом, что ли, этаже -- и был заморожен симметрией близящегося штурма: внизу колонны техники справа и слева, а прямо -- впереди, за пылающим, плавящимся и осыпающимся стеклянно-бетонным (словно из недостижимого будущего) финансовым билдингом, -- на алмазно-синей воде залива (при виде которой снова вспомнилась «плацента») высился Вавилон авианосца... Из бесчисленных динамиков, рупоров, мегафонов потоком неслась брань. Высоко в прозрачно-голубом небе висели вертолеты. А потом все стихло. И, с животом, вдруг занывшим от страха, вышел в коридор, бесконечней которого не видел ничего в жизни. Когда мимо прошли (почти пробежали) несколько человек с повязками Красного Креста - - полулежал на ковровой дорожке пола, прислонясь спиной к стене и прижимал руками к ушам «Небо и землю». Кто-то о чем-то спросил,

утвердительно кивнув, и, после такого же ответного кивка, сунул в руку полупустую конвалюту таблеток, и побежал догонять остальных.

... Запил таблетки водой из графина, войдя в ближайший кабинет, и, сев на край стола, закурил сигарету... И здание содрогнулось, не нарушив сомнамбулической мелодии. Вышел в коридор, раздумывая: идти к лифту или к лестнице, вослед удалившимся людям с повязками, но увидев, как разлетелась одна из дверей в конце коридора, пропустив вращающийся шар огненного облака, и затем такой же задумчивый шар, в вихре которого промелькнули шторы, бумаги, возник в другом конце, -- пошел, как снегом запорошенный известью, по коридору, вглядываясь в очертания шаров, кого-то в них узнавая, останавливаясь в проемах незапертых дверей, где в окнах казенно меблированных кабинетов пребывало под аквамарином осенних небес -- синее море. И на башнях авианосца кратко воскуривались молочные дымки...

44

... Странно. Ведь Гоша должен быть в США -- с чего ж мне взбрело, что он в Чили? Может быть и не в Чили, но он привиделся едущим в электричке вдоль побережья страны, состоящей чуть ли не целиком из побережья. И вагон электрички пуст, и на свете пасмурно и спокойно, и рассеянный свет пробивается сквозь лиловато-белесый облачный слой, и электропоезд движется безостановочно и неспешно. И Гоша смотрит в окно, локти на коленях, и пальцы на чемоданной ручке, и перед его отсутствующим взором тянется покоящийся океан и нескончаемая полоса берега.

А потом железнодорожное полотно повело в глубь материка и сплошной стеной потянулись деревья. А над деревьями вдалеке завиднелась безлюдная стройка на фоне воскресного океана. И редкий дождь стал кропить вагонный стекла, и бледный свет, провалившись сквозь облака, завис на минуту над водой -- блекло-лимонным пятном посреди стылого зеркала океана. И деревья подступили, и стройка исчезла, и вдруг появилась ближе: в немоте устремившийся в небо башенный кран, серые несколько этажей, в незастекленных проемах -- море...

И, вслушиваясь во что-то не внешнее, Гоша смотрит в окно на плывущее вдоль океана побережье Чили (или побережье какого-то иного места мира), смотрит, исполненный ищущей, терпеливой тоски и безнадежной отваги одиночества. (И мне подумалось: такой взгляд, такое выражение могло бы быть на фото в тоненькой книжке весьма странных эссе и софистских трактатов, принадлежащих перу автора «Письма апостолу Петру» -- мало кому знакомой пьесы для двух гитар и клавира.) И вдруг всего в паре метров от Игоря промелькнул подросток, сидящий на тропе между деревьями. Он сидел, обхватив колени руками, и чумазое лицо было бездумно-грустным. И сердце сжалось от боли, сострадания и зависти к чужой жизни, которую больше не встретит, никогда не увидит...

45

... Москва в дождь. В сквере человек собирает в корзину охапки прелых листьев, а утро пасмурное, тихое, но ветер в верхах голых деревьев уже качает ветви, и человеку в сквере, где редкие прохожие лишь дополняют картину безлюдья, так приятно думать про горячий чай или кофе. А когда он идет к себе в десятом часу утра, ветер уже спустился на землю и прах обшарпанных улиц вихреобразно кружится на дорогах. И сигнал грузовика, стук автомобильной дверцы, людской возглас из глубины колодца двора, - - все голоса города стали обрывочными, гортанными, утопающими. И идти, на ходу запахивая рабочую куртку, уютно и сиротливо. Прохожие спешат, края одежды разлетаются, люди заслоняют лица ладонями от пылевых зерен. Спустя полчаса человек, переоблачась в чистое, идет в кофейню, а на свете снова тихо и грустно, и начальные капли первого дождя года, крупные, словно нарисованные, слетают на город. И человек смотрит сквозь стекла кофейни как дождь набирает силу. Зонты вспыхивают, прохожие ускоряют шаги, бегут, держа раскрытые газеты над головами. Кто-то забегаёт в подворотню и там, задумчивый, стоит, а рядом смеется девушка, и другая что-то ей живо рассказывает, и все призрачны и размыты из-за водопада, хлещущего из сломанной водосточной трубы. И человек пьет кофе, грея руки о чашку, и вспоминает про сегодняшнюю мертвую птицу,

которую он положил в корзину, на листья, -- птица была целой и твердой, казалось, что вот-вот она забьет крылами и взлетит в свое звонкое небо, и черный дог, неслышный, стремительный словно пантера, кружил, почти что реял по скверу, уставленному постройками для спорта, каруселями и сказочными истуканами. И постройки спортивной и детской площадок в тишине и свете тусклого утра выглядели инопланетными сооружениями.

И, еще до того как выйти из кафе, вспоминается один из вечеров жизни. Такие вечера бывают в конце «бархатного» сезона, перед тем как погода должна перемениться -- ветреные, с багровым светом заката из-за фиолетовых туч, из-за синей, четко очерченной цепи островных холмов. Солнце светит в кирпичную стену дома перед пустырем, за которым обрыв и бесящийся океан. И ты идешь с друзьями, и вам, слегка нетрезвым -- весело каким-то не очень добрым весельем. И друг толкает тебя локтем:

- Смотри, рыжая твоя.

И издалека видишь: мимо дома, на балконах которого колышется белье, облитое догорающим светом, идет девушка, высокая, в белой блузке и длинной желтой юбке, и огненные волосы развеваются, и она то и дело убирает их с лица. А прошлой ночью ты взял ее девство, но весь этот день не ощущал той небрежной гордости, которая слышалась, когда рассказывали истории об этом. Не было ничего -- лишь вина пред чужою любовью. И все равно ты ответил другу, предчувствуя, что о сказанном будешь жалеть:

-

А дождь поутих и стало возможным пройти без зонта -- наглухо застегнув «молнию» куртки -- по Тверскому, близ которого на тротуаре толпятся люди и лежит сбитый мотоциклист на проезжей части, и, часто мигая, терпеливо смотрит вверх и лицо в грязных брызгах, и одна нога неестественно изогнута, и постовой по рации вызывает «скорую». Пройтись по бульвару, озирая балюстрады с мокрыми птицами, черные охапки хвороста вороньих гнезд на деревьях бульвара. И откуда-то доносится обрывок давно забытого шлягера : «...на тебе сошелся клином белый свет...». И дальше идешь, немо напевая песню, верней, в тебе ее поет неофициальная певичка,

на чьем концерте тебе довелось побывать. И слышится аккомпанемент двух гитар и звенит металлический треугольник.

«...Мне бы выйти, побежать за поворот
За тобою. Да вот гордость не дает...»

И дождик плачет исповедално, и тучные зерна набухают в земле, и еще несколько недель -- и настанет Лето с неизменным ливнем на день рожденья. А если оглянуться -- то увидишь в перспективе бульвара заштрихованный дождем белый шар на крыше многоэтажки. Так что же это за шар? Отчего никто не знает о его назначении? У этого шара в каплях измороси, средь низкого серого неба столицы гигантской империи, обязательно должна состояться некая мистическая встреча в один из последних дней тысячелетия, несмотря на то, что пожарная лестница у выхода на крышу закрыта чугунной решеткой, сросшейся ржавчиной с амбарным замком.

А там, у моря, вечер, и так же -- дождь. «Затяжные дожди» -- передали в «Прогнозе погоды». И известь на стенах дома отсырела и вздулась, а скамейка покрыта зеленовато-сизой слизью (через месяц дождя эта слизь станет тонким слоем мха), и в чулане дома звонко падают капли в железный таз, а на полке -- банка соленых грибов и банка маринованных садовых яблок. И соседские куры -- в курнике ниже твоего роста -- сидят, нахохлясь, и по гниющей соломе сочится вода. А отец с помощью Гоши вытаскивает камень или дерево готовой скульптуры в сад, чтобы ее било ветром, омывало дождем, сушило солнцем. Они берут корягу или глыбу, и заносят в дом, и отец долго вытирает ее ветошью, а Волков курит в проеме двери и смотрит на город, на море, но перед его взором все-то плывут, сталкиваясь, крушась, наползая друг на друга, льдины по реке, куда он ездил вчера и бродил один по прошлогодней листве крутых склонов. И лоскутья блеклого неба бессолнечно голубели, а снизу доносились, разрывая звенящую тишину, тяжкие и оглушительные, шипящие и летаргичные шумы ледохода, и сквозь частоколы голых, наклонно растущих деревьев, он провожал взглядом итсрепанные, грязные льдины, устремившиеся к океану: льдины с остатками рыболовных кострищ, льдины с шинными следами -- отрезками

зимней переправы, льдина с зеленой бутылкой, льдина с ботинком, льдины тонкие, чистые и прозрачные, как слюдяные пластины. И при каждом пушечном разрыве затора снизу взлетали и пронзительно граяли черные птицы, и, после одного из разрывов, он склонил голову и закрыл уши руками, и увидел у ног жестянку с кленовым соком, и поднес ее, холодную, ко рту -- и в ней плавал пожухлый лист, слегка подкрасивший, подтемнивший древесную влагу, и вкус ее не имел определения, но чувствовалось -- в нем содержится все... И Гоша долго сидел на ворохе листвы с жестянкой в ладонях, и, допив сок, лег, и в небе быстро летели молочно-белые облака, и холм со всеми деревьями и им, Волковым, лежащим на листьях, стронулся и поплыл -- туда, в те края, откуда неслись облака... И, покуда он смотрит на город, твоя сестра идет помогать матери мыть интернатские классы. По улице двигаются трамваи, рассыпая искры в промозглый воздух, и в киоске, рядом с конным монументом губернатору, она покупает проездные билеты, и затем идет к остановке, звеня мелочью в ладони -- в такт грустной песенке, от которой ей радостно, и, когда кто-то из прохожих взглянет на нее, напевающую -- она на мгновение стесняется, и сразу же забывает стеснение и опять напевает. И ей становится еще радостней оттого, что показалось солнце и все заблестело, и подул ветерок, гоня еще более тяжкие тучи, и площадь и улица вдруг оживились, зашумели...

А в селе Луговом дождь все собирается, собирается, да никак не решается пролиться на землю. И тех выпускников районной школы, которые из Лугового, сегодня отпустили раньше -- готовиться к выпускным экзаменам. И оба они -- в расхристанных белых рубашках -- гоняют по проселку на дряхлом, чадающем, триумфально ревущем мопеде.

А там, где самый разгар знойного дня, Тимоха во сне непрестанно и сипло бормочет (то ли -- «пить...», то ли -- «жить... еще...»).

В Москве идет дождик.

46

... Вот я и навестил тебя, весенний Тихий океан... По-над обрывом рос багульник, и статуи (целый ансамбль парковых статуй --

гребчих, милосских венер, и горнистов) по пояс утопали в его лаковых листиках, в розоватом дыме его соцветий, среди которых если уснешь -- не проснешься. Я, помню, от кого-то слышал об этом в детстве. Ветки багульника так густо росли на крае пропасти, сокрывая ее кромку, что я и не заметил как нога ступила в пустоту... Екнуло сердце, легкие вмиг ожгло ледяным кислородом, зеленое море, бледная голубизна неба, скальная стена (в каменных складках -- кристаллы грязного снега) перевернулись, и, описав круг, -- возвратились... Застыли, чуть вибрируя, в сокровенном покое. Ибо падшего держал незримый и твердый столп восходящего воздуха, давящего в солнечное сплетение, упирающегося в полы распахнутого демисезонного пальто, в кармане которого завалялась сохляя пармезанная корка. Далеко внизу белая пена прибоя кружевными нитями набегала на берег, два рыбацких баркаса -- каждый не более чашечки аптекарских весов -- воздымались на волнах, уходя в океан, изумрудный, солнечно-затуманенный на горизонте, такой апрельский, такой предвоенный... Истинный покой!.. Как бы я мог своим косным разумом, тварным своим сердцем познать тебя, когда б не Его пропастные возносящиеся потоки, когда б не магия штиля во грозových эпицентрах...

47

А лето, близящееся к своему апогею, выдалось таким, что захотелось сменить себе имя. Слишком много всего. Каждый день адский зной, в центре невозможное пекло, сизый от автомобильного чада воздух дрожит как плавящееся стекло. Вечерами над городом в небе -- то рои насекомых (жучки черные, блестящие, рогатые), то китайские цветы фейерверков, то шальные трассирующие пунктиры, взмывающие на волнах горячего континентального ветра над стремнинами улиц, облитых потусторонним светом неонных вывесок, рекламных табло. В подземном переходе -- прохлада электрических звуков, пространственный холод сомнамбулических пьес. Вечером выйдешь из дому в гастроном, и, возвращаясь, постоишь у стены в переходе. Муторно-тепло и пыльно пахнет каучуком эскалаторов из метро. Стоишь, держа сверток с сыром,

полбуханки хлеба и еще -- подмышкой -- портвейн, вслушиваясь в затаенную мечту, в какофонический шепот гитары, в песню о том, как мне приснилось: закат(такой как слово «навсегда»), и летят по алому воздуху рыбы, большие и малые, бледно-зеленые, серебристые, голубые. Кто знает -- ко странствию? К набегу? К любви?..

Подымаешься на улицу, шевеля во рту: Иона... Иона...(как до этого был Улисс, Магомет, Николас, Аякс). Толпа суетливо редет. Перед грозой душно и кто-нибудь -- солидный, очкастый, седовласый -- стоит, обмякнув, у фонаря, держась за сердце, или идет заплетающимися ногами, ослабляя галстук. Вниз по Тверской, петляя, стремительно уносятся скейтбордисты. Головы повязаны пестрыми тряпками. А над Кремлем в небе уже что-то грандиозное, клубящееся, фиолетовое, пронизываемое артериями молний. Там, внизу, в начале улицы, вспыхивает зонт... другой... третий... двадцатый (но только первый, темно-розовый, тебе о ком-то почти напомнил). Подул ветер, взвихряя тротуарную пыль, впиваясь в лицо мелким прахом. В ветре -- частицы воды, хотя над тобой, в вышине, среди грязно-желтых туч -- лоскут лазури. Облачные протуберанцы вот-вот залижут его. Но на мгновение расходятся и возникает -- мираж, голография, чудо... Ледокол, четырехтрубный, закопченный, пропавший без вести сто лет назад, ставший редкостью филателии.

Ни с того ни с сего, идя под ливнем, сунув хлеб под майку, вытянутую из шорт, вспомнил утренний разговор с пареньком-грузчиком из «Елисеевского» (я поливал раскаленный асфальт из кишки, когда он подошел поболтать. Дико изумился, что я нигде больше, кроме как тут, по утрам, не работаю. «Что ж ты делаешь столько времени остального?»). Может из-за «Ионы», может из-за вспомненного разговора с человеком, не представляющим на что тратить жизнь, если не работать от зари до темна, -- но я шел под дождем пьяный от музыки мыслей: Вот и открыли планету (Юпитер, Сатурн, Бетельгейзе -- не важно), где в реках вино да бальзам, где воздух стерилен, где любая жратва -- Эверестами. Враждующим расам, фракциям, племенам -- всем по острову изобилия. И все покинули Землю... Выйдешь на улицу, выломав дверь (чтобы избежать принудительной депортации -- попросишь соседа на дверь твоей комнаты снаружи навесить замок. Будешь пить все те дни. До

тех пор, пока последний корабль не истает в небе, отбросив цилиндры ступеней). И -- видишь, что этот проклятый город -- в аквамаринной вуали утра (ясного, чуть прохладного, позднего) безмятежен, прекрасен как новобрачная... И -- броди, вдыхая свежесть (в которой растворилась и гарь, и досаживающийся из щелей отработанный газ, увеселяющий, усыпляющий, психотропный), наслаждаясь видом руин административного центра, близ коих на газонах пасутся жирафы. На люках «амфибии», пошевеливая хвостами, разлеглись пумы, ленивые до того, что зашвырни в них бутылкой -- едва перекачатся с боку на бок. Африканские львы, равнодушные и престарелые, в траве под брюхами вертолетов десанта. Зайди в музей, откуда вывезли все шедевры, и, сидя на постаменте слепка с египетской статуи, играй на корнете, кейфствуя от акустики зала, по колено заполненного водой. Прогуливаясь, покуривая, смотри, как что-то лопоча, блаженные полощут белье, склоняясь к реке со ступенек Якиманской набережной. Залазь в авто и кати к морю. Или -- пешком в Венецию, чтобы попасть туда осенью. Гляди, как в прозрачном освещении Каналетто, в Тициановском цвете заката развеваются огромные опечаленно-юные флаги в каньонах венецианских улиц... Твоих возлюбленных не будет с тобой. Но все равно -- сорви запыленное городское яблоко, поймай ящерицу, что дремлет на теплом бетоне автострады, пахнущем древностью и лагуной. Все сгодится в подарок тому, о чьем существовании не подозреваешь, или, хотя бы, не думаешь. Тому, кто не улетит только потому что ты -- Здесь...

48

...Один из троих солдат гарнизона форта по приказу офицера уехал на единственной гарнизонной лошади вербовать добровольцев. В течение нескольких дней мы видели -- сквозь бойницы в частоколе или выходя за ворота форта -- лишь бескрайнее поле с редкими сухими травинками под серым небом, столь же невзрачным как и равнина.

Через час после того, как прибыл рядовой, приведя нескольких оборванцев клейменных печатью лени и скуки, почтовый голубь

принес известие, что враг снялся со своего становища. Новобранцы были накормлены, переодеты, и офицер, расставив отряд у бойниц, раздал всем по порции водки. Спустя недолгое время прилетел еще один голубь. В записке значилось, что враг уже на расстоянии нескольких миль от форта.

Исчезновение одного из добровольцев первым заметил лейтенант. Винтовка стояла у стены, а владелец ее исчезал из поля зрения, убегая в сторону своего поселка. Было видно, как на бегу он стаскивает с себя китель. В руке тускло поблескивал наш горн, который он, очевидно, принял за золотой. Другому новобранцу схватило живот и он сидел на корточках у частокола. Вскоре рядом с ним сел еще один. Когда они стали перелезать через забор, офицер попытался пристрелить одного из трусов, но пистолет дал осечку.

Тогда лейтенант принес из палатки граммофон и поставил пластинку, дабы поднять боевой дух отряда. Все до рези в глазах вглядывались в пустое поле, над которым кружилась лишь музыка Антонио Вивальди.

Спустя несколько минут трое из прибывших почти одновременно бросили ружья. Кто-то из нас схватил за ногу одного из этих троих, перелезавших частокол, но отдернул руки с гримасой отвращения. Руки были испачканы испражнениями. Я выстрелил в того, который бежал к лошади, пасшейся за воротами, но, видимо, промахнулся. Наш командир кинулся догонять дезертиров. Мы приникли к бойницам, иногда оборачиваясь посмотреть -- удастся ли офицеру вернуть убегающих. Когда я оглянулся в третий раз -- поле с тыла было настолько же пусто, как и поле с фронта.

Пластинка все еще играла, когда последний из завербованных, рослый и полный детина, источая тошнотворный запах, косолапо отошел от своей бойницы. И хотя я краем глаза успел заметить, что он взваливает на спину гарнизонный барабан, было не до него -- голубь принес известие: «Они совсем рядом. Держаться».

Граммофонная игла с визгом вернулась на начало пластинки. И я заметил... Но нет, то было лишь темноватое облачко на горизонте...

День был настолько пасмурен и тих, что одинаково казался как теплым так и прохладным. Когда Колумб уже отплыл обратно, а вторжение, засилие еще не началось, на открытых и покинутых им берегах, погода, наверное, была такой же...

Сегодня лишь несколько человек посетили выставку и Игорь один прохаживался по гулкому холлу, подолгу стоя у своих картин. Удивленно печалился -- до чего ж, оказывается, памятно все, что связано с этой или иной работой: люди, места, погода. Прошрое сочилось со стен.

...Шел дождь... В кафетерии через дорогу -- бутерброды, кофейный напиток горячий... Бежал домой -- газетой прикрывался. В штиблетах. Носки промокли... Ни окурка нельзя было подобрать -- все размокло. Забегал в подъезды -- искал на лестницах, счастливый. Лет шесть пейзажику этому... Вот еще портрет с того лета. Тоже в сезон дождей сработан. Пили с Ильясом Зинатуллиным, на подоконнике разложили селедку, хлеб, холодец в жестяной буфетной тарелке. Старый квартал в окне... Позеленевшая статуя. Нереально-близкий лошадиный бронзовый круп... Заканчивал портрет -- дождь хлынул такой, что появилось чувство глухоты... Приходилось кричать Ильясу... Отчего-то смеялись...

Игорь подошел к распахнутому настезь окну. На крыше небоскреба, самого далекого, вспыхивали, мерцали фиолетовые огоньки сварки. Устанавливали плакат: четверо юнцов в оранжевой с просинью дымке межсезонья. Темные пальто. Поднятые воротники. Точно такой же значок квартета был и у Тимохи и у сестры Нелюбина.

...Может быть, кроме строителей, там, на крыше, я один и вижу огни эти. В этот тусклый день. Да уж, наверное, вечер... Неужто я один смотрю сейчас на этот билдинг, обрамленный спокойным океаном, где застыли танкеры?.. Бетонный белый билдинг с черными стеклами, с которого сыплются синие искры, а небо там бессолнечно-чистое, только справа, над океанским покоем -- стороною идущая черно-лиловая туча. И искры сыплются, сыплются, и все это напоминает осаду, штурм, но без разрывов, без грохота выстрелов, и еще это напоминает... твоё лицо, а когда луч солнца, тонкий, словно луч

циркового прожектора, падает с небес и высвечивает на миг танкер и вода вдруг золотая -- это **настолько** ты... Откуда здесь столько тебя? Откуда это предчувствие: вспомню, как глядя на океан и на билдинг в трассирах сварки, сознавал, что еще что-то увидя (глубоководный мир, вертолетную атаку, пейзажи Сатурна, руины Вавилона, -- неважно), я вспомню, как смотрел на билдинг и предчувствовал, что в новых пиршествах моего сердца и зренья будет и небоскреб, и танкер, и луч, и ты...

50

Проходя мимо свалки, увидел полуувядший куст Иван-чая, росший прямо из порушенной стены. Дома налил воды в шампанскую бутылку и поставил цветы на подоконник. Магнитофон давно сломался, и слушать океанический и какой-то отдаленно реактивный гул гигантского города, обедая в одиночку, без музыки, глядя на мелкие желтые соцветья на фоне стены -- было не так одиноко. Вспоминал ночной дождь, и то, как где-то внизу, в колодце двора, заплакал ребенок, когда дождь стих и только редкие капли гулко били о жесть карнизов. И где-то в чистом воздухе ночи стрекотал вертолет. Один круг он сделал совсем низко и стекла задребезжали.

Покончил с вареными яйцами, капустным ломтем, выкурил сигарету, бездумно озирая акварели отца -- и вышел пройтись. Был прохладный, с переменной облачностью день, когда чувствуется -- осень скоро. Скоро конец прогулкам в шортах и тимохиной майке, и женщины скоро не будут такими волнующими. Шел по Тверской за брюнеткой с точеным профилем (она посмотрела в зеркальную витрину -- кто увязался за ней), в белом платье. Через легкую ткань просвечивали узкие плавки, великолепно загорелое тело. (Этой весной взял да поссорился с подругой -- такой же вот порывистой, грациозной, стремительной -- оттого только, чтоб не провожать ее на окраину. Хватило двух ночных потасовок -- раз на выходе из ее подъезда, другой -- на платформе.)

Пока покупал бутылку пива, брюнетка исчезла... Облако закрыло солнце, день сделался вновь прозрачным. Башни Кремля, голубой

почтовый фургон, мальчишка на скейтборде, уносящийся вниз по Тверской, вседержавный конный Долгорукий, стрелы строительных кранов над домами, бледное небо -- мир снова стал озером, в которое падали капли, чьи двойные круги напоминают прицельную оптику, что ли. Наслаждаясь городом, навряд ли еще кому-то из проходящих и едущих по улице представляющим таким сокровенно-прозрачным, безмолвно выдыхающим свою хрустальную сущность («деструкция стекловидного тела» довольно редкая глазная болезнь, да и глазная ли? -- зрение от нее вроде как не падает), куря и отпивая из бутылки, дошел до телеграфа, поглазел на старика -- продавца воздушных шаров, ожидающего клиентов под сенью туго надутых рыб, сердец, попугаев. Зашел на телеграф, зачем-то купил конверт. Хотелось побывать еще в каких-то местах города, но при мысли об обратном пути охватила лень, -- повернул назад. Взяв еще пива, смотрел телевизоры в витрине. Уже свечерело и в экранах все стало виднее. По большому центральному, в окружении восьми портативных, шла та же хроника, что и утром, когда на ходу, глядя по сторонам, тихо и едко изрекал -- припоминая -- стихи поэта «серебряного века». Но теперь, глядя на собственное отражение в экране с вертолетной атакой в горах в зареве заката, и на необъятную, как Куликово поле, охваченную сумерками, равнину с ровно-багровой полосой вдаль, на равнину, куда медленно опускался целый порядок вертолетов Красного Креста и к ним удалялись, влачили сонмы людей в окровавленных нательных рубашках, людей, друг друга поддерживающих, несущих на носилках и волочущих в брезентовых полотнищах, -- стихи в молчании души вдруг зазвучали вновь, но уже как запредельная надчеловечная музыка.

«Довольно! Красоты не надо.
Не стоит песен подлый мир.
Померкни, Тассова лампада,
Забудься, друг веков Омир!»

51

...Словно умер кто-то любимый... -- такое чувство вызывал вид далекого монгольфьера, плывущего в безоблачных небесах над океаном. Дул ветер, был шестой час после полудня. И более чем на милю, развеваясь, тянулся за желто-голубым монгольфьером шлейф из легчайшего черного шелка.

На оконечности мыса, куда ты дошел, неотрывно следя за зрелищем, исполненным траурной красоты, ткань полотна едва не коснулась твоего лица...

52

Ожоги поджили, но левый глаз все еще слезился. Приходилось носить марлевую повязку. Когда наступала ночь, Тимоха снимал ее, смотрел обоими глазами на огни города из окна палаты. Прикрывал ладонью то один, то другой глаз: какой лучше видит? Убедившись, что примерно одинаково -- закуривал, и долго сидел в оконном проеме, пока тлела сигарета, почти не затягиваясь ею. Пил воду. Ложился спать, надвинув повязку, чтоб не было больно по пробуждении. Ночью жара спадала, было хорошо. Но днем, при ослепительном самаркандском солнце, начинал слезиться и правый, здоровый глаз. И лучше всего было надвинуть повязку на оба глаза, и весь день, истекая потом, лежать с закрытыми глазами в палате с зашторенными окнами. В начале августа один из военврачей уезжал в краткосрочный отпуск. Чтобы поливать цветы в квартире, кормить кошку, нужен был солдат из выздоравливающих. Врач взял Тимоху -- в пятницу вечером привез его, одетого в широченные пижамные штаны и майку, домой, все объяснил-показал, а ночью уже летел в самолете на свадьбу сына. В понедельник утром он должен был возвратиться.

В однокомнатной квартире полковника было множество растений и зеркал. Зеркала отражались друг в друге, образуя бесконечные коридоры, заставленные горшками с папоротниками, кактусами, алоэ, настурциями. Квартира находилась в полуподвальном этаже и может поэтому, может из-за обилия зелени, жара в ней была вполне терпимой. Весь следующий день Тимоха ел

фрукты, оставленные на столе, включал телевизор, принимал прохладный душ. Играл с котенком (полковник сказал, что Мурлыка принесла четырех котят. Трех он уже роздал, вот за четвертым девчонка все никак не приходит.

- Если придет -- отдашь. Что я с двумя кошками делать буду, -- говорил угрюмый, грузный полковник, намыливая лицо перед бритьем.). Вечером раздался тихий стук в дверь. В форточку проникали зовущие, веселые, отдаленные шумы сумерек знойного лета. Тимоха снял с глаза повязку, и, развалясь на диване, доедая последние яблоки, смотрел по телевизору футбол, убавив экранную яркость. Стук показался ему каким-то уличным шумом.

- Ну куда ж ты лупишь, мазила! -- сказал он, хрустя яблоком. Стук повторился. В трусах, в смоченной под краном майке, Тимоха пошел открывать. За дверью стояли две девочки -- русская и узбечка, обе лет восьми-девяти.

- Здравствуйте. А дядь Андрей дома?

- Здравс... Нет. Он уехал. Вы за котенком?

Девочки закивали радостно и застенчиво.

- Сейчас. Вы зайдите.

Тимоха заглянул под диван. Мурлыка и котенок спали. Тима взял котенка -- теплого, пушистого. Мурлыка подняла голову.

- Ну, все. Скажи мамке до свидания. Еще встретитесь как-нибудь, -- сказал Тимоха, и, неся котенка к двери, провел им, спинкой его, по правой стороне лица. -- Прощай, котейка.

Отдавать «котейку» было жаль.

Тимоха еще долго, сквозь дрему смотрел телевизор -- клевал носом. Полить цветы он забыл. Цветы полил полковник в полдень понедельника, потому что в воскресенье по всей улице было отключено водоснабжение.

Тимофей пил несвежую воду из чайника. Ее оставалось совсем немного и половину он вылил в мурлыкино блюдце. Мурлыка беспокойно бегала по квартире, громко мяуча, ища детеныша. Вечером мучимый жаждой Тимоха, одев на левый глаз повязку, встал в оржавленную ванну, и, запрокинув голову и открыв рот, постукал ладонью по душевому рассеивателю. Несколько теплых,

металлического вкуса капель упало на воспаленный язык. «Тоже пить хочет», -- подумал Тимоха, глядя на огромного малярийного комара, пантомимно гарцующего по прохладным кафельным стенам, по потолку с отстающей, вздувшейся пузырями известкой...

Среди ночи Тимоха проснулся, открыл холодильник -- в морозилке льда не было. Тогда он взял картофелину, почистил и съел ее, невкусную, но влажную. Уже рассветало. Наставал понедельник. Съев картофелину, Тимофей долго лежал, озирая похожую из-за обилия стекла и зелени на аквариум, комнату, по которой плавали, блуждали, отражаясь в зеркалах, блики света. «О чем бы таком подумать», -- решал Тимоха, и не решил, и уснул, увидев ослепительную, сияющую черноту сна. И эту черноту пожирал, поглатывал горизонтальный столб пламени, спирально вращающегося внутри самого себя. Пламени, делающегося ледяным от скорости собственного натиска. И, одновременно с огненным палом, озаряющим абсолютную тьму, Тимоха видел далекого недвижимого человека, разметавшегося в холодке бледного рассвета среди хаоса холостяцкой квартиры, и мимо пятисотлетнего цветущего кактуса шмыгала кошка, и где-то шумела вода. А пламя безудержно несло, продолжалось, летело, и Тима знал: лежащий среди зеркал, среди непоенных, пыльных растений, и самим собою живущий, спрессованный пламень среди мрака -- одно. И этот сон постаревший в забытьи Тимоха ощущал душой как ничем не разбавленную, концентрированную радость, которая вспыхнула, хлынула оттого, что лишь она одна и уцелела, осталась неисчерпанной.

53

...И перфокарта дождя опустилась на многомиллионный город. И прохаживающийся по зале телеграфа, освещенной дежурной лампой, охранник, уставший от этой ночи, от непрерывного пребывания наедине со своей жизнью, остановился в центре залы, прислушиваясь. Дошел до окна, уронил резиновую дубинку на подоконник, расстегнул робу. И смотрел, приникнув лбом к стеклу, как вода низвергается на асфальт, на стены Кремля, на голые деревья,

на булыжники площади. Как расплываются в потоках огни фонарей и неонных реклам и их отражения на лоснящихся тротуарах (сквозь шум ливня слышно было как гудит электричество внутри какого-то из аппаратов за плексигласом оградительной витрины)... И, с затаившимся дыханием почувствовав близость некой разгадки, он стал воскрешать в своей памяти картины прошлого, надеясь среди них найти шифр к близкой Тайне...

Не так давно он был гувернером -- гулял с детьми и делал с ними уроки, помогал на кухне, ходил в магазины. У них, в той семье, была обезьяна, которая вечно норовила вышмыгнуть на лестничную клетку. Обезьяну нужно было -- в строго определенные часы -- кормить, одевать в штанишки и камзолчик, нужно было выносить за ней нечистоты. Там была еще кошка, но о ней мало что помнится. Однажды ночью, одеревяневший от недосыпания, он гладил ее, тихо урчащую, свернувшуюся клубком в обувной коробке. Несмотря на живность в квартире хорошо пахло. Помнится один из рисунков старшей девочки. Шариковой ручкой, небрежно, размашисто (такой рисунок могла бы вывести рука трех, но не тринадцатилетнего, почти взрослого, человека): косой квадрат -- дом, несколько волнистых линий -- море, треугольник в море -- глиссер. Именно глиссер, потому что была обозначена -- черточками -- скорость. Он долго тогда смотрел на рисунок и чувствовал плотный и сырой, словно марля, воздух, разрываемый летящим по волнам глиссером. И нарисованный день был свежий и пасмурный...

А летом: пикник на крыше дома, где он жил в комнатухе коммуналки, в центре, в двухстах метрах от телеграфа. Он тогда нигде не работал, и, сдав накопившуюся стеклопосуду, купил бутылку водки и закуски, чтобы поехать за город. Пригласил соседа, но пока готовили салат, отваривали яйца и делали прочие приготовления к отдыху на лужайке -- небо нахмурилось. Взяли зонт, плед, пакет с едой, гитару, плохонькую, дребезжащую, и поднялись, минуя три лестничных марша, на чердак и затем на крышу. Небо было дымно-серым. Выпивали и закусывали молча. Внизу был пошарпанный переулочек. Прохожие -- редки. Проехал почти старинный автомобиль с колесом под задним стеклом и сосед сказал:

- Как будто сейчас сорок первый год. Начало лета.

- Да. Я тоже подумал.

Потом пошел дождь, теплый и тихий -- раскрыли зонт. Внизу горела мусорная куча, дождем огонь притушило, и стало дымно в переулке, и смутно думалось, что в каком-то из этих трехэтажных домов кто-то тяжело болеет. Или кто-то, напрасно кого-то любя, сжимает руки, а может быть гладит лицо своей любовью... Поиграли на гитаре, допили, спустились по лестнице.

- Был чудесный пикник.

- Да. Но все равно -- мы еще съездим куда-нибудь.

И разошлись. И он вспомнил, что забыл на крыше рассказать, как его стригла девушка перед армией, даже не столько об этом, а о том какие облака были видны из кресла парикмахерской -- они наплыли на солнце и синее небо стало как бы глянцевым, словно на снимках приятеля, фотографа, самого, быть может, остроумного человека, встреченного в жизни. Однажды рассказал Михаилу (фотографу) про то, как в детстве отец давал возможность: или стоять в углу, или три «ремня» порки. И всегда выбирался угол. «Если б ты хоть раз выбрал «ремень», ты, может быть, был сейчас, ну, не знаю, астронавтом, корсаром, национальным героем, наемным убийцей», -- говорил тогда Михаил, щуря один глаз из-за дыма сигареты, прыгающей в углу рта. -- Впрочем...

И потом Михаил задумчиво и путано говорил о том, что, вероятно, человек обязательно должен испытывать и холод страха и холод риска и горячий холод любви, иначе сердце пожирает самое себя.

- А скорей всего -- отец просто не хотел тебя пороть, вот и все, -- и засмеялся.

И так получилось, что в своих прогулках по Москве, по тихим улочкам в ее центре, он, охранник телеграфа, десятки раз проходил мимо фотоателье, где среди портретов в витрине были снимки: грозное столичное небо, пшеничные колосья под водой прилива, морская черепаха на лобовом стекле, снятая ночью из кабины воздушного лайнера, потерпевшего аварию и приводнившегося в океане (растерянные, смазанные движением лица пилотов). Чем-то знакомым веяло от этих снимков, но, всякий раз, наглядевшись, он проходил мимо.

Ателье работало даже в тот день, когда штурмовали парламентский дворец (они с соседом наблюдали это, выглядывая из-за смятого автобуса). При танковых выстрелах, из окон, из белых-белых клубов дыма, вылетали полотнища оранжевых штор и выпархивали облака бумаг, возносящихся к горящему небоскребу. После одного из выстрелов кто-то из находившихся рядом сипло произнес «а ведь все ляжет на плечи налогоплательщиков», и, кто слышал -- рассмеялись. Спустя минуту в толпе за автобусом вспыхнула перебранка, мгновенно перейдя в поножовщину, и это было страшно. Гигантские стекла билдинга, плавясь, рушились вместе с отраженным в них небом, и пламя лениво плескалось, блуждало в зияющей черноте кабинетов, переливаясь вверх с этажа на этаж. Из-за глазного заболевания, ему, телеграфному сторожу, голубое небо казалось штилевым зеркалом озера, моря, в которое нет-нет да и упадет дождевая капля -- кружочек на воде. А порой по пылающему билдингу, по дворцу (в окнах которого порой вспыхивали автоматные огни, а от стен отлетали брызги штукатурки) проползала, струясь, стеклянная змейка, а то и вся явь покрывалась рябью; словно незримая рука сдвигала в сторону прозрачный поблескивающий занавес...

На исходе десятиминутного прекращения огня (многожды объявленного откуда-то в мегафон) сосед сказал «пора, наверное, сматываться, сейчас начнется». И, пробегая мимо колонны военной техники, -- увидели солдата, сидевшего на броне, и вся правая сторона тела у него была окровавлена, и он отпихивал ногами офицера, пытающегося стащить его вниз, и, держа автомат в левой руке, силился его поднять, направить куда-то в верхние этажи дворца. (Такого вдохновенного и зачарованно-ненавидящего лица взора сторож не видел никогда. По коже прошел мороз, в голове промелькнуло -- «нынешний Каин»). Пороховая гарь стлалась по всему проспекту, люди спешили туда и обратно, был открыт киоск грампластинок и кто-то покупал диск, на всех скамейках пили, многие слушали перестрелку по транзисторам, Шла женщина с виолончелью, старик выгуливал собаку, там и тут стояли группы десантников, почему-то окруженные милицией. «Во пацанам повезло, может впервые в Москве, а тут такое» -- засмеялся сосед. А

под ногами валялись пачки из-под импортных сигарет и смятые пивные банки и все было засыпано палой листвой. И сердце изнемогало от восторга и ужаса этого фантастического дня.

Вверху что-то хрястнуло, посыпались куски шифера, водосточная труба содрогнулась.

- Давай в переулок, а то сюда прилетит чего-нибудь, -- сказал сосед.

Фотоателье было открыто.

- Сегодня только выдаем готовые заказы, а мастеров никого нет и сейчас закроемся, -- сказал парень за конторкой, едва они вошли.

- Жаль, жаль, -- сказал сосед, -- в такой денек да запечатлеться.

Шли домой переулками. Из окна хлебного магазина торговали -- хлеб был горячий, хрустел. Заходили в церковь, потом в гастроном. Остаток дня слушали приемник, разошлись поздно. Ночью, глядя с постели на темные холмы крыш, над которыми гудел поднимающийся ветер, слушал любимого композитора -- и в это время началась стрельба у ТАССа. Раздался далекий и протяжный крик и утонул в ветре. От музыки и перестрелки сердце, замерев, воздымалось... Проваливаясь в дрему, видел свои шагающие по жухлой листве ноги... во дворах бетономешалки... Ощущал церковный холод после теплого солнца улиц и чуял хлебный аромат, пробившийся сквозь пороховой чад, как только сместилась куда-то перестрелка у армянской булочной.

На другой день они с соседом помогали разбирать баррикадный завал на Неждановой, и также -- было тепло. Работалось легко, все шутили. Придя к себе, поел чечевичного супа, закурил, и, глядя как солнце косо скользит по слою пыли на оконном стекле, почувствовал такую скуку... И пошел прочь из дому, и ноги ноги понесли к ателье, и, войдя, он спросил с порога:

- Миша Павин работает сегодня?

«Вчерашний» парень крикнул в глубину помещения:

- Тут к Павину пришли!

Вышла пожилая женщина и сказала:

- Три дня назад он уволился. Так жаль, замечательный мастер. Вы ему кто. Ах, друг. Вы не фотограф? Давайте я вас угощу кофе. Не торопитесь?

Пили кофе в комнате, где на протянутом шпагате сушились снимки. За открытым окном проплывали облака, у которых был тот же смысл, что и на нескольких цветных пейзажах неба, развешенных среди портретов и снимков на документы. Спросил:

- Это и это -- Мишкины работы?

- Да-да. Как жаль -- он уехал.

- Как уехал. Куда?

- На родину. Мы даже прощальную вечеринку устроили. Как странно -- столько здесь живете и не встретились.

- Да, невероятно.

И, выпросив на память одно из небес, попрощался, ступил на тротуар (солнце было на другой стороне переулка), и подумал: «октябрь»... И глубоко вздохнул при мимолетном чувстве, что нежданно касается души обычно в начале лета...

Еще -- в один из тех дней -- побывал в Большом театре (помогал знакомому знакомого при переезде на квартиру и этот лысый скупердяй в оркестровой яме расплатился «стоячей» контрмаркой). Испив в буфете шампанского, смотрел с верхнего яруса балкона на танцовщицу, невесомо вращающуюся в конусе голубого света. И пьяно-иллюзорно думалось о своем диком невежестве в искусстве балета, о еще одном шампанском на последние деньги, о девушке, навзничь упавшей на асфальт, перебегая пространство за искореженным автобусом...

А среди ночи проснулся в поту. Снился себе среди обезумевшей, рассыпающейся в панике толпы, -- изувеченным, бегущим где-то в районе перекрестка у Никитских. Правая сторона липкая и внутри что-то хрипло визжит и из раны в теле тщится выбраться на свет и улететь что-то живое. И меж ребер просовывается, прорезывается перепончатое, как у летучей мыши, крыло. Но он знает, что спит, и, значит, можно проснуться, но все бежит и бежит по плавящемуся от жары асфальту, не в силах унять заходящейся в визге, перепончатой, растопыренной твари... Проснулся от вспышки ослепляющей мысли: «неужели -- сон ли, явь -- все едино, раз ни тут и ни там невозможно проснуться?!...» Ночь в изголовье была лунной, светлой, и он курил в постели, и душа постепенно возвращалась, и, мало-помалу успокаиваясь, он тихо говорил, затягиваясь сигаретой: «хорошо бы к

морю. Сто лет не был. Там пока что тепло. Лучше б на Тихий, повидать всех своих. Но это ж уйма денег». Вспомнилось как относил отцу телеграмму о смерти бабки (отцовой матери). Отец был на стройке, плотничал -- строили школу. Протянув телеграмму, держал ее, а отец не брал и смотрел ему в глаза, чуть-чуть улыбаясь, а вверху белело небо того далекого дня (потолка школы еще не было), и две женщины, с ног до головы обляпанные известью, балансируя, пробегали по торцу стены, и, смеясь, кричали отцу: -- Санька, иди обедать!

- Сейчас, девчата, иду.

А он, кажется, снова пошел играть в футбол. Помнится -- потому что играли на песчаной отмели реки, мутной от ила и петляющей вдаль насколько можно было увидеть. Тот прохладный день в конце августа, и телеграмма, и река -- слились в памяти, и футбол был тогда, наверное, тоже...

Он курил очередную сигарету и отирал влагу со спокойного лица, и фильтр сигареты был мокрым и солоноватым. Он подумал, что если б не комендантский час, то, наверное, в такую теплую ночь под окнами проходили бы парочки, звенела гитара, раздавалось пенье, как бывало в считанные (без гроз и дождей) ночи прошедшего лета, страшного и блаженного. «Купить очки от слннца, отгулы взять на работе», -- ему нравилось слышать свой голос. «Завтра же». Но «завтра же» не получилось. Чтобы уехать к морю, пришлось дежурить неделю -- каждые сутки. Из той недели запомнилось, как в комнате отдыха мазал хлеб вареньем, и было уютно смотреть слипающимися глазами как смородинный сироп растекается по маргарину. И мысли были: «Дождь идет. Хлеб. Варенье. Уснуть бы.»

А через неделю... Остолбенел перед морской панорамой в конце улицы с домами крытыми черепицей, увитыми виноградом. Было солнечно и прохладно, кафе на берегу пустовали, музыку бриз разносил для немногих -- все это было очень, очень по нутру. Денег хватало и на пиво и на фрукты и на обеды с водкой, и на ежевечерние бутылочки местного портвейна (при прогулках по набережной). Несмотря на то что вода была холодна -- много купался. Над заливом летал моторный дельтаплан. В последний «коктебельский» день он узнал, что за плату возможно полетать (позади юнца-пилота). Он

долго шел к дельтаплану через пустырь, мимо останков палаточных лагерей, от которых все еще разило мочой. Солнце падало за горы, и вода залива у берегов была словно экстракт синьки, тени гор лежали на воде, а дальше, к горизонту, море голубело, светлело...

Они описывали круг за кругом над морем -- вблизи поселка. Он крикнул прямо в ухо пилоту:

- Давай дальше, выше!.. Плачу!.. Ха-ха-ха!..

Мотор трещал, высота нарастала, эфир холодел... Мир раскрывался как цветок. Внизу, в изумрудной темноте моря, обозначивались подводные холмы и долины. Он засмеялся еще радостней:

- А если мы навернемся!..

- Херня!.. Не должны!..

Воздух южной осени сек лицо и срывал парусинную куртку. «Какая уникальная грусть...» Пилот вытянул руку в сторону, невесть откуда вынув горсть белых шариков, и высыпал их, одновременно делая поворот в сторону поселка. Шариканули, скрылись из виду и... в сотне метров над морем -- в мгновенной очередности -- вспыхнули, создав неровное бенгальское полукружье.

- Петарды!.. Сам придумал!.. От тренья взрываются!..

- Какого тренья!?!..

- Об воздух!..

Какой-то образ близился к памяти, почти омрачая радость полета, и... он вспомнил раненого, одержимого экстазом возмездия, ненавидящим взором ищущего цель в синих высях... «Я хотел бы быть им, как вчера мне мечталось быть этим пилотом».

- Всё!.. Назад!.. Бензина нет!..

- Не хватит!?!..

- Херня!.. Спасемся!..

Мир был аттракционом, разом унявшим смутную память страданий.

... Потом, еще не совсем земной, он не спеша шел по камням берега, прихлебывая «массандру» (бутылочки торчали изо всех парусинных карманов) и думал о том, как бы смогло выдержать сердце экстаз вознесения, если б он этим сердцем кого-то любил...

54

... Все отгремело. И в русле разгромленной улицы моего единственно-возлюбленного города, над завалами баррикад пролетал геликоптер, ныряя, взмывая. Мелькали окна, карнизы, балконы, статуи с вопиюще пустыми глазницами в нишах домов. Можно было разглядеть интерьеры брошенных комнат. Сверкнет солнце из переулка и снова -- тень. Там и тут, впереди, насколько хватало глаз, до конца улицы, голубея, сливающейся с морем, -- развевались шторы, вытянутые бризом наружу из выбитых окон. Огибая угол помпезного, архаичного здания с атлантами на фронтонах, пилот снизил скорость. Электрическое пианино, захлапленный объедками и бумажными листами пол в студии сочинителя музыки «океанских глубин», музыки, исхлестанной синтезаторными ветрами. Ты помахал рукой, но бледный, обтянутый кожей композитор, сидя верхом на стуле посреди студии, рассеянно протирал очки, хлопал глазами как аквариумная рыба с латинским названьем, застревающим в горле.

Мой приятель! -- ты крикнул пилоту.

Он, наверное, даже не знает, что творилось тут сутки назад! -- смеясь, прокричал пилот.

55

В слегка прохладный, почти что не пасмурный, с бледно-синими просветами в небе, денек, -- столица праздновала День Города. На бульварах играли духовые оркестры, на досках импровизированных подмостков выступали самодеятельные клоуны, чтецы, куплетисты. По улицам проезжали машины украшенные флагами, веселыми плакатами. Всюду были гуляющие, но было просторно. На подмостках в начале-внизу Тверского бульвара девочка звенящим голосом, в котором вибрировала и едва не обрывалась хрустальная нить, читала:

- Белеет парус одинокий!..

В тумане моря голубом!..

Среди собравшихся стояли двое парней в новых и неказисто на них сидящих костюмах. У одного из парней левая половина лица была покрыта бугристой, словно остывшая вулканическая лава, малиново-белой коростой поджившего ожога.

- Тимох, пойдём, мне уже в аэропорт скоро, -- сказал его приятель, длинный и белобрысый.

- Да отстань ты. Дай я мороженое твое доем.

- А он мятежный просит бури!..

Как будто в бурях есть покой!.. -

девочка сделала книксен, люди заулыбались, заплодировали.

- Ух, здорово эта малявка читает, -- сказал Тимоха. - Ну, давай теперь я понесу.

Он взял у приятеля вещмешок. Приятель вместе с Тимофеем возвращался домой после госпиталя. Из-за позвоночной травмы он ходил, ломано качаясь туловищем из стороны в сторону. В Москве пути приятелей расходились. Тимофей забросил вещмешок на плечо.

- Макарон! Смотри! Улица Герцена -- там у меня друг жил. Ну-ка, обожди, я еще мороженого возьму. -- и Тимоха побежал к киоску.

До отъезда тимохиного товарища в аэропорт приятели побывали на Красной площади, поглазели на смену почетного караула.

- У них наверно все время на маршировку уходит, -- сказал Тимофей.

- Наверно, -- сказал приятель.

- Ха! Представляешь, тебе тут прохаживаться!

После Красной площади они поехали в зоопарк -- еще немного времени оставалось. В зоопарке из громкоговорителей хрипло выплывала музыка, опадала листва. Белый медведь выныривал из бассейна, вставал на задние лапы, приседал, кланялся. Тимофей достал хлебный батон из кармана вещмешка и кинул мякиша в бассейн. Медведь плюхнулся в воду. Вылез и присел-поклонился, замотал головой, замахал лапой, -- благодарил.

- Смешной какой, наверно еще малой совсем.

- У вас хлебца можно немножко? Мы тоже ему кинем, -- спросила женщина с малышом на руках.

- Да. Натэ. Макарон, на тебе тоже. Кинь медведю, -- засмеялся Тимоха.

- Тим, я на лавке пойду посижу. Мозоль, ч-черт, ботинки эти.

- Ну, пойдем. Перекусим посидим.

Они сидели на спинке скамьи у пруда с утками, ели колбасу с хлебом, запивали газировкой из автомата, которую Тимофей набрал в госпитальную железную кружку.

- Крокодил мне понравился. Лежит себе -- бревно бревном, -- сказал Тимофей.

- Обезьян, жаль, не нашли.

- Да. Обезьяны -- здорово.

- Тимох, вот адрес мой. Твой-то у меня есть.

- Я вообще-то не люблю писать письма. А помнишь Толика Баранова? Ну и здорово же он всем письма сочинял!

- Мне тоже сочинял. Он, правда, обнаглел совсем потом, стал за чай, за сахар писать.

- Не, мне он так писал.

- Ну, что, Тим, пойдем? Мне придется до аэровокзала на такси ехать. Я уже опаздываю.

- Пойдем. Ты мне дай червонец, мало ли что до вечера. В кино может схожу, -- сказал Тимофей.

- На, двадцать пять возьми хотя б.

Они вышли за ворота зоопарка.

- Сейчас я такси тебе поймаю.

Пока Тимофей ловил такси, его товарищ вытащил из вещмешка другой вещмешок, такой же, и стоял, часто мигаючи, глядя, как Тимоха подбегает к останавливающимся такси, открывает дверцы, говорит с водителями, захлопывает дверцы и снова вытягивает руку, тормозя машины.

- Макарон, давай! Этот везет! А, мои манатки. Ну, прощай. Счастливо тебе добратся.

- Счастливо, счастливо, Тим, счастливо, -- белобрысый мигал чаще и чаще и тряс Тимохе руку.

- Ну, садись, ха-ха, а то сейчас разнюнишься, садись.

Макарон сел в такси, машина тронулась, и он крикнул, высунув голову в окно:

- Тимоха! Я тебе буду писать, Тимоха!..

- Я тебе тоже напишу, Макарон! -- и Тимофей пробежал вслед такси несколько метров, и взмахнул над головой почти пустым вещмешком, и подбросил его, и поймал, и машина свернула за угол.

56

...В жгуче-синем небе -- спортивный «кукурузник» болотного цвета. Высоко... Ты видишь эту неподвижную картину -- небо и самолет -- метров с тридцати-сорока от самолета, и чуть по восходящей диагонали. Видишь так, как если б ты был херувимом, бесплотным и оптимистичным вовеки.

Рев двигателей, и, разумеется, музыка. Музыка сфер, сыгранная на земле, или музыка радостной, скорбной земли, в невоспетое взятая небо. С лязгом железа дверь «отъезжает», но вместо ватаги спортсменов в бездну падает, спиной назад -- человек, обхвативший ящик шампанского. И этот достойнейший деятель завис на миг вверх тормашками в метре от самолета, а темные бутылки с серебристыми длинными горлами -- еще едва только начали свое выпадение из лунок прекрасного ящика...

57

Почему-то «береговые» орудия тоже были выбелены голубоватой водоустойчивой известью. Все в фортеции 1914-го года (выстроенной для защиты от возможного вторжения с моря), а теперь -- в вечно пустующем «музее под открытым небом» с мизерной платой за вход, было избела-голубое. Все было того же тона, что и атмосфера дня: бессолнечно-чистая, не хмурая. Игорь Волков шел из больницы, где ему отказали в приеме. Принять передачу медсестра также отказалась. А вечером сегодня -- самолет в Америку, через Москву. Времени оставалось часа два (взять из дому чемодан и доехать до автовокзала, чтоб оттуда уже в аэропорт). Все это можно сделать за более краткое время, и Волков не знал, что

делать с остатком времени и с предметом, который не взяли для передачи другу. Игорь был в новом костюме, свободном, светло-сером, одетом впервые. Покуда он покупал билет у старика в будке на входе, несколько скупающих туристов местного значения (горожане, которые, видимо, были на пикнике, или просто гуляли и зашли посетить сооружение, не имеющее в своей истории ни славных побед, ни героических поражений -- ничего, кроме долгих лет ожидания вторжения) вышли, прошли мимо Волкова. На миг его внимание привлекла пара: коротко стриженная блондинка и ее спутник. Игорь не успел увидеть его лица -- тот шел, неспешно спускался по лестнице, тихо, безмелодийно насвистывая. «Он, наверное, что-то сказал ей, а может, не любит ее, а сам пока не знает. А, к черту их вместе с моей проницательностью», -- подумал Волков, перехватив широко открытый, потерянно озирающий небо и море, взгляд коротковолосой. По белым плитам крепостной площадки передвигалась, едва отрываясь от плит -- газета, чистая, несмятая, свежая. Игорь вышел за ворота музея, прошелся вдоль ряда пушек, подобрал газету и обернул ею то, что хотел оставить в больнице. Это была часть ствола сухого дерева длиной едва ль более полуметра, а толщиной она была такова, что ее вполне охватывала ладонь. В кленовом стволе было дупло -- удлиненно-узкое, а в нем -- дикий, затверделый мед. Игорь распечатал «Camel», купленный в «валютке», и, покуривая, переходил от одной орудийной башни к другой. Вошел в абсолютно пустое помещение дзота. Безучастно подивился непомерным размерам амбразуры (снизу, с городских улиц, она выглядит тончайшей щелью). Он сел в порожнем проеме огневой точки, лицом к городу, к морю. Внизу белел ступенями, колоннами и статуями под куполообразной крышей -- дворец правосудия. За ним, совсем -- неправдоподобно -- рядом, виднелись вышки пляжа -- без ныряльщиков, невоплощенные, загадочные. В даях залива блуждали паруса аутсайдерных яхт регаты. «Какой престранный город. Эта часть его вся -- белая, синяя, голубая, или день такой?..» Не доносилось ни звука из города, наверное легкий ветерок уносил их в свободу моря. Дворец правосудия перекрыл синий вагон фуникулера, несбыточно близкий, и удалился по диагоналям рельс

куда-то вправо и ввысь. А в самом низу города, на предстоящем взору отрезке набережной между «дворцом» и административным, сплошь стеклянным, отражающим почти прозрачные сегодняшние облака, небоскребом -- двигалось людское шествие и яркие спортивные флаги грядущей олимпиады склонялись на вольном ленивом ветру. Сборные нескольких стран, после климатической адаптации в здешних пригородах, шли к теплоходу. Над заливом кружил легкий вертолет, близясь к городу. До слуха -- отдаленным разрывом -- донеслась духовая музыка. Розово-белый вертолет пролетел над набережной, над небоскребом, над минаретами, окружающими сферическую крышу правого дворца. Из-за стрекота винта духовой марш сник, вертолет приблизился, черты лиц обоих пилотов обнаружили, стальные «лыжи» вертолета пронесли над головой Игоря, ветер взъерошил волосы, охолодил лицо. Плакат (что был прикреплен к «лыжам»), на котором сияла олимпийская символика и слова: «Возвращайтесь с победой!» -- на миг перекрыл своим полотном амбразуру, и исчез, открыв вид города, вдруг явившийся другим, оставаясь все тем же. Людей и знамен уже не было. Город зиждился пред океаном -- неразгаданный и молчаливый.

Ровное море памяти дало всплеск и Игорь посмотрел на небо, в котором высоко-высоко реяла птица. Игорь спрыгнул на пол и увидел, что костюм перепачкан известкой. С минуту он отряхивал ее, потом взял в руку обернутый газетой невостребованный дар другу. И подумал: как же он все-таки пахнет -- этот мед, дикий, лесной. Вроде б и не ощутимо, а ведь...» И еще какое-то время он неотрывно смотрел на панораму, понимая некую связь между сегодняшним **таким** городом и запахом меда, который необнаруженно присутствовал здесь. И недодумав эту мысль, Игорь взял сверток и вышел...

58

...Первый дождь года теплый, изобильный. На исходе душного мая он нескончаемо и летаргично зашумел на рассвете. Оттого, что мне все лучше и лучше, я то и дело просыпался и смотрел на узкий прямоугольник сизо-серого неба над колодцем двора, куда выходило единственное окно комнаты на Страстном бульваре, на четвертом

этаже, в «коммуналке». Смотрел и засыпал снова. И снова плавал в чистой воде, что заполнила двор по карнизы второго этажа. Замшелый асфальт у скамейки был усеян жестянками из-под консервного пива. И тускло желтели, недвижно одушевляясь эманацией собственной зримости, -- когда я их разглядывал, проплывая -- битые гильзы мелкокалиберного револьвера, этой забавы дворовых собутыльников (я и сам раз палил из него в дальнюю, «тупиковую» стену). Проплыв под скамейкой, поднырнув под малярную люльку, висевшую поперек двора, оказавшись в пустом стеклопосудном складе, сооруженном из металлической сетки, я плавал в его пространстве, пытаясь поймать руками то одну, то другую их двух серебристых рыбок. Легко схватывал их и давал ускользнуть.

И мысль в продолжении всего плавания была одна и та же -- она вилась как депешная лента: ...Война окончена... Война окончена...

И воздуху в легких хватало, и пузыри подымались, и, вместе с рыбками и одноглазой старухой в сумрачно-пестрых, колеблющихся в воде, одеяниях, что также, прикасаясь к рыбам, плавала, счастливая, -- выплыл в другую, настезь открытую, дверь склада.

И, хотя в ее левом, стеклянном глазу я на миг увидел то же, что и когда-то в детстве, в чуть приоткрытых глазах разметавшегося на полу человека (когда ударил ружейный выстрел и за стеной закричали и все ринулись на лестничную клетку и оттуда -- в квартиру более похожую на мастерскую чучел таежных птиц и зверей, чем на обитель того, кто скоро умрет), -- в воде было так же тепло, и пузыри подымались, и рыбы ластились, и шел дождь наверху, и «депеша» умиротворенно и бесконечно тянулась через сознание: ...Война окончена...

59

Из окна бюро, со стремянки для мытья витрин кафетерия, с помпезных балконов здания каботажного пароходства, овеваемых исполинскими флагами, из несущегося в вихрях оранжевой пыли поковерканного гоночного автомобиля -- картина мира представляла одинаково законченной...

Мир являлся новым. И даже полуразрушенные конно-крылатые монархи, адмиралы, и вдохновенно-умирающие повстанцы выглядели только что -- после подъятия со дна моря или извлечения из-под земли -- явленными на свет вновь. «Ничего мне не нужно», -- мысль была острая, свежая и радостная, от нее по коже шел холодок. «Ничего, никаких иных жизней. Прожить, умереть, и воплотиться в конную статую императора ли, мятежника, конкистадора -- все равно. Все равно где. Только чтобы внизу -- автострада и город и море. В просторном предверии землетрясения, обезумелой толпы или авиабомбы -- отрешенно и вдохновенно стынуть в задумчивом экстазе окаменения; и когда мокрый снег, и когда солнце с порывами бриза, и когда небо подернуто пеленою смога и клаксоны многокилометровых автопробок сливаются в монотонный гул, и когда дни -- прозрачные, с равнодушной облачностью, такие уравновешенные, опустело-спокойные, какими бывают последние дни общенационального траура». В небе над городом, дергаясь и кривляясь, парили воздушные змеи. Самых больших спортсмены (набирало размах крупное, международное состязание) запускали с центральной площади, которую и пересекал Волков, щурясь от ветра и солнца (отраженного морем, стеклами зданий, мельчайшими кремнями, вкрапленными в гранит брусчатки), улыбаясь и почти что грустя от новизны существующего.

На этой площади всегда одиноко, даже если фейерверк и наявивают оркестры, и в толпе, ликуя, поливают друг друга шампанским. Новый мир... А ведь всего несколько лет назад эту площадь пересекал М.В. Его песни в тот год были в городе популярнее, чем песни подпольных и каждому известных певцов из далеких мегаполисов отечественного запада. Он проходил здесь, как всегда - в белой сорочке, в черных брюках и жилетке. Высокий, худощавый, пепельно-русый. Его сломили настолько, что солдат, конвоирующий М. В. через площадь -- из дворца правосудия в отделение -- мог остановиться с кем-то поболтать, выпить газированного сиропа, махнув ему рукой: мол, иди пока, я сейчас. Даже будь М.В. без наручников, он бы не попытался бежать. Может тогда-то и возникла здесь аура того самого метафизического

одиночества, которое прочел Волков в глазах своего -- почти что -- кумира, когда тем летом, прохладным бледно-пасмурным днем, сдерживая ком в горле, догнал певца, и, не зная что сказать, растерянно вымолвил: «я помню ваши песни»... Но, может, и не сломили. А просто-напросто: ощутив, **что** сокрыто за меланхолией счастья, таящегося в самом конце морской перспективы, М.В., таким образом, стал неотъемлемой -- начальной ее частью... Нелюбин как-то сказал о таких как М.В., что это люди, несущие фиолетовый свет сумерек. Солнце есть солнце, а в сумерках человек остается один, остается -- с собой... А может быть, мир предстает новым, чтобы опьянить, восхитить, заполнить своим сиянием душу, опустошенную знойным ветром невостребованности? Все -- сияет... Все вокруг -- словно какое-то необъятнейшее полотно Веронезе.

В одной палате с Ильясом Зинатуллиным находится матрос из Сальвадора. Метис. Он заболел, когда его танкер стоял тут, в порту. Ильяс говорит, что он, этот Лу Крамер, умирает. От гипертрофии чего-то там, связанного с меланхолией, одним словом -- от Грусти... Сидит целыми днями в качалке у окна, неотрывно смотрит на море, даже если нескончаемый дождь, как вчера, и видна лишь колеблющаяся завеса водяного тумана. У себя на родине, когда там был самый апогей исторических событий, Лу Крамер был сброшен в океан с вертолета, верней, те люди -- и в форме и в штатском -- свешивали его в открытый дверной проем, и он (во всем изорванно-окровавленно-белом) держался, вися в воздухе, за стальной порожек. (Был ослепительный, вибрирующий от дробного рева винта и пьяного смеха голубой день, прозрачный до прозелени.) Потом его затаскивали внутрь, вся предшествующая процедура повторялась, и он опять оказывался в воздухе. В третий или четвертый раз он не стал цепляться за протягиваемый ему автоматный ствол, а -- разжал пальцы. И обеими -- одновременно -- руками послал воздушный поцелуй, тем, смеющимся в округлом проеме...

И плацента бездонной океанской впадины приняла низвергшегося с небес человека, за мгновение до того как разжать пальцы, смогшего подумать о вероятности спасенья, о том, что внизу -- вода, о той знаменитой теории (не совсем верно -- из-за веры в

Бога -- когда-то этим человеком понятой), согласно которой -- почти всегда есть шанс спастись.

Через несколько часов Лу Крамера, несмотря на кровотечение и костные повреждения ног, удерживающегося на гладкой как стекло, штилевой воде океанского абсолютного ока, подобрал африканский мазутный танкер, сияюще-черный, как и его матросы.

Глядя с центра площади, запрокинув голову, в бездонное небо зреющей осени, лазурно смеющееся посредством вихляющихся, реющих в нем воздушных змеев, Волков подумал о М.В. и о метисе с негритянского танкера, как о невольных то ли очевидцах, то ли предтечах какого-то наивысшего и почти преступного счастья. Предвестьем которого и является это смутно-томительное и взволнованное чувство новизны мира.

Волков уже полмесяца работал на заказ -- делал роспись стены в одном из залов здания каботажного пароходства. Он работал по вечерам, когда здание пустело, когда все расходились, кроме охранника, пожилого, сухого как щепка, жилистого человека, прохаживающегося взад-вперед по полутемному гулкому холлу (ни читыва, ни чая, ни транзистора). Он нравился Волкову: рукопожатьем, хладнокровным воспаленным взглядом, кривой -- похожей на шрам - - усмешкой. Поработав часа три, Игорь сносил банки с краской в угол, за портьеру, переодевался в чистое. Погасив в зале свет, выходил на длинный и просторный балкон с мраморной балюстрадой. Доставал из сумки принесенное спиртное (чаще всего это было крепленое вино), ломоть хлеба, кусок сыра или холодного отваренного мяса, а иногда -- только кривобокое яблоко, сорванное с ветки в сквере на ходу по пути в «каботаж». Сидя на стуле, закинув ноги на балюстраду, смотрел в сгущающихся сумерках на переливающиеся в маслянисто-черной воде бухты огни. Снизу доносился шелест деревьев, слышался в лиловом сумраке неторопливый стук каблучков по асфальту. Невнятные, хотя и близкие, голоса прохожих, возвращающихся из кинотеатра. Шипящий лет автомобилей, гудки корабельных сирен. Теплый запах пыли, транспортных выхлопов и увядающей листвы -- по мере наступления темноты сменялся прохладной терпкостью морского эфира, остывающего бетона, холодеющего железа. Аромат алкоголя становился острее. И

касались лица, плеча, залитые сомнамбулически-юным светом Луны, плавно и широко воздымающиеся, простирая самоих себя в покой и согласие сентябрьской ночи, государственные флаги стран коалиции. Волков смотрел сквозь стакан с вином на лунный луч, на огни порта. И в таинственно-бесстрастном шепоте флагов, и в бессвязном лепете листвы, и в прощальных приветствиях пароходных сирен, оглашающих необъятность океанической ночи -- мерещилось вествование о том же, по чем душа начинала томиться при свете (и с каждым сегодняшним утром чуть нестерпимее, чем вчерашним). И все те, невесть куда запропавшие -- поющие, ясновидящие и возлюбленные -- были рядом. С ними не разлучал даже редкий жужжащий шум красно мигающих машин, поливающих улицы. Волков то начинал что-нибудь тихо декламировать, наблюдая за кистью руки, выписывающей на фоне лунного неба непривычно красивые, витиеватые жесты, то напевал. С застывшей на лице сентиментально-- оптимистической улыбкой представлял себя то на войне, то в Америке. Пытался представлять себя в Раю, но вспоминалось, как он, в начале сентября, на закате, думая о Тимохе, и о Нелюбине, и о Гале (верней, не думая, а помня их всех), плыл с открытыми глазами под водой, и в зеленоватой тьме воды, просвеченной алым вечерним светом, покачивались живые луны медуз, больших и малых...

И хотя в эту невероятно теплую осень Волков оказался не в Америке, а на лесопилке (отстоящей от города в нескольких часах автобусной езды вдоль побережья), где все было старым-престарым, все равно: все представало сияющим. Труд небольшой бригады, состоящей в основном из осужденных на поселение, был воистину каторжным, но люди (ради которых и оказался -- рабочим пилорамы - - Волков на лесопилке, то есть, ради смутно видящихся будущих картин о конце тысячелетия) этого не замечали. И Игорю среди них, и так же как и им, было тяжело и радостно. Пилорама заходила в визге, тележка, подвозящая к ней столетние сосны, гремела цепями, за неостекленными огромными окнами цеха тархтел баркас, доставляющий доски и опилки на мебельную фабрику. Она находилась где-то в крохотном городке на оконечности мыса, еле

видного из цеха лесопилки. Ветер с бесящегося под самыми стенами океана носил по цеху горячо пахнувшие волны свежей древесной пыли. Там, на лесопилке, прислушиваясь к незаглушаемому грохотом жаркой работы горластому пению однорукого Вовы (тот ходил по конвейеру с крюком в руке, растаскивая им заторы досок, налезавших друг на друга) Волков захотел остаться в собственной памяти оглянувшись, переводя дух, вослед баркасу, воздымающемуся на зеленых волнах солнечно-искрящегося дня с почти ураганным ветром, что разметал листы рубероида, покрывающие холм опилок на палубе, и в миг превратил этот холм в белую полосу, истаявшую в просторе... Остаться в своей памяти -- на закате пробирающимся с холщовой сумкой, впопыхах набитой медикаментами, через хлебное поле (пыльный полынный ветер, донося то обрывающийся крик, леденящий душу, то дробовиковые выстрелы «наугад», гнул до земли переспелые колосья), окольным путем обходя деревню, где продолжалось столкновение между коренными жителями и переселенцами, столкновение, не обошедшее стороной лесопилку... Запомнить себя -- возвращающимся, в полдень уходя по полосе берега (шоссейный путь был разбит трехдневным тайфуном. Внутри мертвых полых деревьев когда-то давно выгоревшего участка тайги стояла дождевая вода, пенная от золы), вглядываясь в серебристый цилиндрический предмет, который вздымали -- на неопределимом расстоянии -- волны открытого моря. Они расшибались об него и сверкающие стены брызг высоко восставали над океаном, и, то каскадами рушились вниз, то мгновенно и незримо тончали, стираясь о ветер. Масштабы предмета были неясны, но о том, что он вблизи огромен, свидетельствовала оранжевая, ясно читаемая надпись на цилиндре. Ее сокрывали волны, но она возникала вновь: WORLD. Это была отработанная ступень космической ракеты, упавшая в океан в районе атолла Нукуалофа.

60

... Ты и я: две пылинки, высоко в весеннем небе встретившиеся в протуберанце урагана, что пронесся на закате над захолустным

курортом и истаял, растворился, превратился во штиль в нескольких милях от берега. Мы встретились на исходе его траектории, когда однотонный звон вихря вдруг сделался музыкой и в иссиня-пурпурном пространстве зажглась диадема залива, иероглиф огней «мертвосезонного» побережья. Напевая канцону, мир угасал как горсть рубинов, и мы с затаенным дыханием любовались красотой его погружения в ночь -- мы, бесконечно малые величины, зачарованные и счастливые...

61

«...Сентябрь...» -- опять это было первое, что подумалось, когда я сел на спинку дивана. Только отсюда, из угла комнаты, в окно видна панорама города. (Диван, притащенный со свалки, обит черной потертой кожей, крепкий, тихо поскрипывающий, надежно объемлющий. С отворачивающимися тяжелыми круглыми подлокотниками-подушками. Точь-в-точь такой я видел в одной музей-квартире. Приспичило по малой нужде, забежал в музей, и, выйдя из туалета, примкнул к экскурсии. Популярный писатель скончался именно на таком диване.)

Уже неделю стоят пасмурно-лиловые дни, незаметно становящиеся бесконечными вечерами. Эта неделя словно большая река где-то вблизи моря -- берегов нет. Иногда -- тусклые красные зарницы на западе; над хаосом крыш, над автомобильными пробками, над площадями. Или свербящее свечение газосварки на каком-нибудь из зданий. Да еще огни Останкинской башни, скрывающейся в дыме мегаполиса как Эверест. Зарницы, сварка, огни, значит -- вечер. Монотонный до самозабвения гул города не заглушает ни вой сирен, ни стрекотанье дорожно-патрульного вертолета. Всю эту неделю, почти каждый вечер -- мерный звон ударов в тибетский бубен. Мне чем-то нравится этот парень (я видел его пару раз на улице), наголо бритый, в сандалиях, в желто-белом балахоне с иероглифом на спине. Звук бубна удаляется, сливаясь с океанической музыкой вечернего города...

Вчера вечером заходил Казик. Дагестанец. Он жил в этой коммуналке, потом переехал. Когда выпьет -- словоохотливый, но

говорит медленно, будто с каким-то отвращением к самому процессу речи. Часто смеется во время своих рассказов. Надменным таким смехом. Я люблю слушать его, несмотря на чудовищный акцент. Был на войне. Радист в штурмовой бригаде. Вчера рассказывал про пленных. «Там два молодые были и дед старый. Им говорят: всё. Идите себе. Они поверили, дураки, а старик -- я по глазам догадался: он понял **что** будет...» Рассказывал как один из танков колонны навернулся в пропасть. Башня от взрыва подлетела до уровня дороги. Я спросил -- «как там вообще было? жить можно?» Он засмеялся. «Ты дурак, что ли? Я там чуть не сдох.» Неплохая фраза для военных мемуаров. Как-то он подарил мне брелок-печать: небольшой округлый аквамарин, оправленный медным кольцом. На камне вырезано (на фарси): Аллах велик. Я долго в тот вечер рассматривал этот камень, глядел сквозь него на дымный пурпур заката, а когда вернул Казику, он снял его с ключей и положил на стол.

У меня есть еще один камень. Обычный галечный окатыш величиной с грецкий орех. Это «куриный глаз». Так, кажется, называются камни, в которых есть отверстие, образовавшееся в ходе эволюции. А может этот камень таков и есть со Дней Творенья. Я помню как с Тимохой и с Волковым купались осенью накануне тимохиного ухода в армию (а я уже собирался ехать в Москву). Был солнечный день, ветреный, море синее, ледяное, вода прозрачная. Гоняли на берегу мяч, что-то выпивали. Этот камень, я, нырнув, достал со дна. Дно было песчаным и камень лежал там один. Рядом произрастал, колеблясь, длинный извилистый стебель подводного папоротника. Всплывая со дна, встречу солнцу, пляшущему на волнующейся поверхности, я выпустил из легких остатки воздуха и мне показалось: я -- в шампанском. Птицы в небе с тающей в нем белой-белой облачной пеной, реяли, парили на одном месте, будто рыбы в хрустальных стремнинах таежной реки... Аквамарин и «куриный глаз» я связал капроновой ниткой, и, куда б ни вышел из дому, беру их с собой. Ношу в кармане.

Всю эту неделю, придя около полудня с работы и пообедав, делаю коллажи, аппликации. (Редактор газеты, где этим летом опубликовали

два моих «сна», договорился с издателем о выпуске небольшим тиражом книги моих «снов» и стихотворений. И теперь я делаю «макет» книги. Редактор захотел чтоб книга была «как-нибудь эдак проиллюстрирована».) Каждый день притаскиваю с работы подобранные на помойке или на тротуарах -- журналы, сигаретные пачки, фольгу, цветную бумагу. Всю неделю не отвечаю на телефонные звонки. Состряпав две-три аппликации, еду на Водный стадион. Конец сентября, но я все еще купаюсь. Конечно ж, эти минутные заплывы назвать купаньем можно только условно. Мне нравится бывать на обезлюдившем пляже... Это серое небо и его глянцевито-остраненные отражения в стеклах нейрохирургической клиники (открывающейся взору только с воды), эти кисловатые сигареты, речная свинцовая рябь, еле видные шпили центра, обрывки блуждающих мелодий, мегафонные голоса над рекой, далекий виток автострады, слабый прохладный запах ржавеющего железа -- на понтоне и на притороченном к нему, распластанном на воде эмалевом самолете (тренажер для отработки спасения на водах), чахлая полынь и юркие ящерицы на потресканном асфальте ступеней амфитеатра... В сумерках прихожу в свою комнату, сажусь на диван, курю, пью чай, смотрю в окно. Зажигаю свет -- аппликация или коллаж. Откатываю кругляки дивана, чтоб можно было вытянуть ноги, ложусь. В темноте с полчаса-час слушаю магнитофон или транзистор. Еще не так давно, во время шумной вечеринки, здесь, у меня, когда играли на бонгах, электрогитаре (и в итоге соседи уже в восемь вечера вызвали милицию), я хвастливо говорил друзьям: стать великим очень просто. Но только для этого нужно, якобы, посмотреть правде в глаза: умрешь в свои двадцать семь или тридцать два, ну, если очень повезет, то с десятков лет еще есть в распоряжении. И сказав себе это -- действуй! Сейчас -- не знаю. Спокойная работа над «картинками» для книги, отстранение от компании, наводят на мысль о долгой-долгой, неторопливой, как эти сумерки, жизни. Но «картинки» это одно (тут даже звук ножниц, режущих бумагу, кропотливое наклеивание ее -- все успокаивает, уравнивает), когда ж пишешь концерт или книгу -- с жизнью что-то начинает происходить, она сжимается, концентрируется, и,

невыносимо отяжелевшая, она -- летит... Как тот нацистский цеппелин, затерянный в дымном небе над крошечными, как вертикально поставленные костяшки домино, билдингами Манхэттена. И обшивка дрожит, вибрирует от рева моторов, и баварские марши (в хриплом колоколе громкоговорителя на цеппелине) на миг сменяются песней Моррисона, и, сердце подростка, глядящего ввысь с толкотни перекрестка, неясно впервые томится, ибо жаль того, что еще не случилось, но наступит, прейдет, и истает как дым, и на всем белом свете, быть может, никто никогда не узнает... Конечно ж, многое зависит еще и от того **какие** концерты и книги пишешь. Прошлою осенью, когда с Витей Трубецким и Булем (я так и не знаю ни имени, ни фамилии. Буль и все.) писали магнитный альбом «Авиарыба» -- началась вся эта заваруха с танковой пальбой, с комендантским часом. Не «шмон», так угодишь в обстрел. Трижды (за те дни) стояли, уставив руки в стену, пока патруль выворачивал карманы, открывал чехлы инструментов, рылся в сумке с микрофонами и прочей оснасткой. Выпрыгивающее от страха замытаренное радостью сердце -- обычное состояние в то «бабье лето». Аквамарин и «курий глаз» я носил тогда за надорванной подкладкой демисезонного пальто. Стоял вечером -- все мы были пьяные после удачного дня в студии частной радиостанции -- ладони уперты в холодную розовую известь церковки на Сивцевом вражке, у которой нас остановил патруль. Смотрел на свою тень (был ясный закат, легким ветерком шевелило волосы) и в алкогольной безмятежности представлял свои амулеты, как они тихо сияют во тьме портновских лабиринтов заношенного пальто, как им там уютно... Из документов всегда наготове справка (разборчивая печать, фотография, подпись «босса»): такой-то является мусорщиком такого-то управления. Действовала безотказно. Кто будет возиться с мусорщиком.

Помнится как в одно утро той осени я побывал на крыше многоэтажки, в которой -- на самом последнем, двадцать пятом этаже -- располагалась радиостанция. Накануне пик кризиса схлынул. В то утро я пришел в студию один. Поболтать, попить чайку с оператором. Я курил на лестничной клетке, когда люк выхода на крышу отворился,

и, с крыши, по металлической лестнице (возле нее стоял работяга с ящиком инструментов) спустились двое автоматчиков спецназа. Хмурые спецназовцы зашли в лифт, уехали. Рабочий остался. Спросил у меня сигарету. Разговорились. Оказалось, начальство прикрепило его к солдатам -- забивать и опечатывать в «высотках» выходы на крыши. «Этот люк -- последний.» Шла акция по отлову снайперов (совершенно безрезультатная -- как выяснилось чуть позже). Я спросил «может на крыше покурим?» Работяга отказался, я поднялся на нее один. Позднее морозящее утро, воронье гнездо на самом краю крыши, в гнезде -- темно-зеленые, в лиловую крапинку, яйца, опыленные наимельчайшими каплями воды, от горизонта до горизонта раскинувшийся гигантский город, переулки кое-где все еще в баррикадных завалах. Помню, что на крыше я подумал о своре собак, что вечно рыскает там, внизу, на оживленнейшем месте столицы (день за днем, идя в радиостанцию, я видел, как они спят, грызутся, склещиваются у витрины магазина электроники), думал о том, что и у меня есть инстинкт, а именно: в морозящий день мне все-то мерещится неуловимый запах парфюма, **ее** парфюма. Это, наверное, оттого что тогда, когда мы с ней повстречались (и от встречи до встречи -- я мучился тем, что никак не могу вспомнить ее лица. И вообще, мне сдается: чем более ты равнодушен к человеку, тем легче вспомнить, представить его образ.) -- стояли морозящие дни, иссякал сезон дождей... Я спустился в радиостанцию, рабочий стал заколачивать люк.

Мы едва успели на матрице записи свести воедино гитары, перкуссию, барабан, трубу. И очень хорошо что успели. Потому что радиостанцию закрыли, персонал уволили, передача с композициями из «Авиарыбы» в эфир не пошла. Кассеты сохранились. Потом я познакомился с А.К. и на ниве знакомства с нею творчество заглохло. В те три-четыре месяца я лишь записывал в блокнот (в одной фразе!): такая-то идея, песня о том-то, такой-то сон, надеюсь потом, когда затмение рассеется и вода отстоится, восстановить, упорядочить хаос.

Вода отстоялась. Затмение прошло. Помню как в апреле я чистил чашу фонтана на площади перед кинотеатром. Снег давно истаял,

грязь превратилась в пыль, и я был поражен сколько мертвых полуистлевших птиц среди пыли и шелухи прошлогодних листьев. Я подымал птиц, совал в мешок. От весны и запаха тления так кружилась голова, что я боялся выпасть из чаши, шмякнуться с трехметровой высоты на бетон сухого бассейна. Прохожие выглядели чудом уцелевшими после эпидемии. Что-то подобное творилось и в моей душе на исходе «затмения». Сухой фонтан, птицы мертвы, вода еще не забила...

Курю в темноте, освещенной тускло-рдеющим огоньком транзистора. Шум и свист радиоволн укачивает, будто лежишь в радиорубке шхуны, зарывающейся в волны полуночного моря... Сентябрь, двадцать восемь лет, должность мусорщика, безызвестный концерт, донашивание книги, неясные, наводящие бессонницу образы, отболевшее сердце. Сентябрь... В юности всюду было море. С друзьями ль, один -- едешь в электричке; на берегу полузатопленные, скособооченные хибары, исковерканные автомобили на металлосвалке -- краска облуплена или же наоборот сияет новизной, известняковый карьер, стаи облезлых собак, рыскающих у скотобоен, отбросы на насыпи, а дальше, надо всем этим -- голубое, аквамаринное, легчайше-туманное, проникающее насквозь... Острова-трапеции, остров-«бутылка», прозрачность пространства, коврига хлеба, покинутый стол Тайной Вечери... Когда я вернулся в свой город после первой по-настоящему долгой разлуки -- тогда еще был жив тимохин отец. Часто тем летом и осенью проводили время в просторном сарае. Ряд таких сараев, то есть лодочных гаражей, тянулся вдоль скалистого берега, как воспоминание о Гималаях. От гаража к воде вели наклонные сходни, чтоб легче было сволакивать и затаскивать лодку. Сезон дождей. Двери распахнуты, стена воды, низвергаясь, качается, колышется, ливневый шум так привычен -- его будто б и нет. Стена воды стоит, соединяя берег и небо. Выбегаешь за сигаретами или хлебом, поднимаешься к магазину у шоссе. Укорачивая путь, прыгаешь с камня на камень, волны пенятся у ног. Пока примеряешься на какой валун легче допрыгнуть -- уровень воды вдруг подымается, и ты по колени или по пояс в воде. Вернувшись из похода, кладешь принесенное на ящик, служащий

столом, садишься на стул, или стоишь, глядя на дождь, в дверном проеме. Как будто и не уходил... Тимохин отец, бывало, играл на «семиструнке». Простейшим и красивым перебором. Всего три или четыре мелодии всеми забытых песен. Однажды представилось, что после жизни -- лодочный гараж. Входишь. Там молчаливый старик, друзья, зачарованные дождем, стоящая на боку вдоль стены лодка, в углу тусклый отсвет на струнах, на полу ветошь, шестеренки мотора. Вино на столе, серый хлеб, копченая рыба. В дверном проеме -- тончающая стена дождя. Дождь ненадолго кончается, небо пусто светлеет. Откидываешься на спинку стула, запахи вешешь плотней полы отсыревшего макинтоша, берешь недопитый стакан. Шевелятся мелкие крабы на мокрой гальке. И юно пахнет солью, водорослями, йодом.

Возвращение... Когда накануне праздника объявлено перемирие, и, любой, кто без оружия, беспрепятственно входит в город. Весь день -- то снег, в минуту становящийся дождем, то-- сияет солнце. И -- вновь асфальт за оградой аэропорта темнеет от крупных капель -- одна, вторая, десятая -- и полоса дождя уходит вдаль, начавших прямо у твоих ног. И снова -- на горах искрится ослепительный снег, сияют ледники, и ветер весны -- влажный, порывистый, дурманящий. И над оградой возникает, тянется над головой, врываясь ввысь, аэробус, весь в бисере дождя, стаявшего снега.

.....
Утром болело горло, в носу першило -- я все-таки простудился. Кое-как отработав, дома сварил картошки и долго дышал ее паром. Откидывал с головы одеяло, отирал пот с лица, опять склонялся над кастрюлей. Во время одной из передышек увидел, что за окном опять накрапывает дождь. Полностью изнеможенный процедурой, сменил мокрую рубаху и подкрепился этим самым картофелем.

В редакцию ехал, чувствуя себя вполне сносно, шел, помахивал папкой с «картинками». Никаких мыслей, чувств, одно лишь неторопливое осознание: метро, троллейбус, по дороге сигаретный киоск, денег на пачку недорогих должно наскрестись. В подземном переходе далеко разносилась музыка. Один хиппи отрешенно и виртуозно обстукивал ладонями, локтями, костяшками пальцев

глиняный латиноамериканский, верней, индейский барабан, а другой играл на каком-то (доселе невиданном мной) инструменте, клавишном, но с мехом (видимо, исполняющим функцию педали). Рука бегаёт по клавишам, вторая качает мех. Звуки были архаичными, тотэмическими. Подумалось, что они старше любой из религий. Пустые глаза мокрых прохожих в переходе... Помноженная эхом топотня ног... С самого утра, когда грохоча баками на тележке, я «объезжал» сонный квартал (опорожняя урны в баки), и в ущельи переулка толпились у пункта приема посуды старики и разномастная запойная шушера, и все терпеливо ждали открытия пункта, окропленные рассеянным сизо-пепельным светом, у меня то и дело возникало болезненно-умиротворенное чувство ожидания. Ожидания, что я вот-вот вспомню о чьем-то присутствии. И когда ацтекская музыка едва слышалась в конце тоннеля -- все струнулось, поплыло. Я стал не один. Мне снова стало двадцать два года и я лежал в остове автофургона, что ржавел под скалой на галечной полосе. Был вечер. (Множество тех вечеров на бухте Тихой, за городом, слились в один, спокойный, бледно-серый, с догорающей полосой вдали.) Послекупальная водка. Уже все навеселе. Танцы на берегу. Я, естественно, тоже выплясывал, но себе запомнился сидящим, обхватив колени, или полулежащим в фургоне, глядя на пламенеющую полосу. И панораму на мгновения перекрывали друзья, кривляющиеся в антрашах вакханалии, и кто-то стучал по жестяному бочонку, и все горланили песню. Этот пурпурный свет, ровно угасающий, и зарницы на западе -- не то чтоб напоминали о Ней... Я и не заметил, как она превратилась в эти сумерки, танцы, печаль, океан, алкоголь, дикий берег и небо. И в мое утешение ими...

Ацтекская музыка вибрировала во мне все время, пока я сидел в редакции, попивая с репортерами дешевый портвейн (выбегать за ним в продмаг через дорогу приходилось мне). За окнами шумел затяжной дождь, в кабинете было сумрачно, накурено, но уютно. Переговорить с редактором о наших делах -- наедине -- не получалось, и я, отпивая из стакана, глядел в окно, прислушивался к анекдотам, принимал участие в «щелканье» кроссворда. Это безделье и выпивка в дождливый день в редакции малоизвестной газеты, взъерошенные птахи на карнизах, стекла, по которым

струились капли дождя, мокрые серые здания напротив, проплывающие крыши троллейбусов, синие искры на стыках проводов -- все это казалось первой страницей мистического романа, где все, что могло случиться, уже случилось, и герой ничего не знает ни о секторе «Нубия-8», ни о бертолетовой соли во вьючных торбах, ни об утрате способности к смерти, ни об ошибочно посланном Даре, но дождь прекратился, появилось солнце, подул ветер, улица оживилась и вечерне зашумела, облака понеслись по асфальтовым зеркалам, и небо стало таким, что он вдруг подумал с перехватившим дыхание вздохом влюбленности: ... кажется, я не умру...

62

...И в 1999 году я все-таки заканчивал снимать историю о себе, о моих друзьях -- о юности. Нас, тех, кто в новое тысячелетие шагнет в возрасте Человеческого Сына. Вернее, я снимал не историю, а приснившуюся и всё снящуюся песню, или, может быть -- спетые и всё звучащие сны.

В расстегнутом демисезонном пальто я растерянно бродил по зеленой траве бескрайнего луга, почему-то именно здесь вознамерясь запечатлеть сбывшийся сон о Тимофее, слетевшем на камни пустыни, в потоки огня, с чужестранного неба, в студёный день, белый, голубой и задумчивый, с редкими мелкими снежинками, с паром дыхания.

Озирая горизонты поля, то заштрихованные моросью мглы, то безучастно-прозрачные, безмятежно-аквамариновые, осматривая траву под ботинками, то и дело глядя в небо, я мял в пальцах черный липкий хлебец с тмином, и отщипывал от него мякишные шарики, и проглатывал их, помусолив во рту.

На русском Дальнем Востоке стояла уже довольно поздняя осень, но здесь, среди луга, в тихий, белесо-серый денек, примет осени не было. А было какое-то слишком обычное поле, безликий, словно отсутствующий день, неопределенное время года. Я пришел сюда задолго до того, как прибудет самолет с парашютистами из аэроклуба

ближайшего городка и из воинской части того же городка привезут амуницию, стрелковое оружие, огнемет.

Задолго и до того, как приедет моя съемочная группа. А до луга я ехал на рейсовом автобусе (если оглянуться -- можно увидеть вдали дощатый навес остановки на пустынном шоссе). Думая о том, что это чистейшее безумие -- пытаться уловить ауру зимней горной пустыни, бродя по голень в зеленой траве, я вынул из кармана пальто подарок Тимофея -- портсигар, выполненный в виде настольной, но годной и для кармана папирсочницы. (Тимофею пришлось разломать магазинную папирсочницу, которая при открытии крышки заходила, хрипло звеня, несколькими тактами вальса «На сопках Маньчжурии»). Я открыл крышку, вынул сигарету, и, глядя на раскрытый в ладони портсигар, в котором сигареты стояли ровными рядами, прослушал дребезжание считанных тактов мелодии своей песни («гвоздь» Тимохиного подарка) и к концу восьмого -- последнего, я знал: древняя пустыня с тотэмическими камнями и этого стыло зеленеющий луг под пасмурным небом -- по сущности своей одно и то же место. Равновеликими друг другу их делает подрагивающее в воздухе томительное ожидание, невероятное напряжение которого длиться дольше уже не может никак...

И тогда небо распаивается и нетрезвые люди низвергаются в тартарары в очаровании и страхе, и пламя, ликуя, гудит, и бренчит шестерня в портсигаре...

63

Примерно в таком душевном состоянии (когда дни -- большая спокойная река) я прожил еще несколько дней, а потом все пошло прахом. Не знаю откуда взялись эти таджики на дне рождения у татарина Раиса Хамзина, моего приятеля из дворницкой бригады. Начиналось все очень хорошо, тихо, спокойно. После работы пошли в «Елисеевский», купили мяса, овощей, ящик пива. Пока Раис жарил мясо, я сидел с бутылкой «адмиралтейского» на подоконнике, смотрел в настезь распахнутое окно. Мне было грустно оттого что книга написана и коллажи к ней завершены, и эта грусть так напоминала другую, давнюю грусть. Мне не хочется называть ее

«посткоитальной». Пусть так и остается -- «другой, давней грустью». Все равно, кроме нее, этой грусти, помнятся только такие же мокрые черные деревья, исповедальный, ясновидящий шепот дождя, самозабвенный гул города, отдаленные клаксоны, слезливое небо...

Смотрели с Раисом прямую трансляцию футбольного матча. Ничего уже не решающего в чемпионате. Осенний матч под дождем. Футбол ради футбола. Потом стали подтягиваться друзья Раиса и с кем-то из них пришли таджики. Раис шепнул мне, что эти двое завтра едут к себе на родину, куда-то в район границы.

Я выбегал (уже смеркалось) к себе домой -- взять стаканы, тарелки. Промок насквозь до нитки, и, переодеваясь у Раиса на кухне в сухие джинсы и рубаху (догадался дома положить в сумку), выложил все из карманов мокрой одежды на стол. Я развешивал над газовой плитой вымокшие свои шмотки, когда услышал:

- Подари?

Я обернулся. Один из таджиков, держа на ладони мои камни, рассматривал аквамарин-печать.

- Нет, самому в подарок.

--Чей подарок?

- Друга моего. А что?

- Ничего, ладно.

Наверное, из-за этого разговора, да еще из-за взглядов, которыми потом, в продолжении часа-полтора, пока я находился у Раиса, смеривал меня этот таджик, а также потому что деньги остались в кармане куртки, в том же, где лежали камни -- я и решил, что это таджик ударил меня, вероятно, чем-то навроде «свинчатки», чуть повыше виска, когда я, после прогулки под ливнем (чтобы утром не было похмелья), в подъезде стоял у своих дверей, ища в карманах ключи. Сколько я провалялся на лестничной клетке -- загадка. Очнувшись от холода, и, войдя в квартиру, я хотел в ванной омыть голову от крови (ее, впрочем, было не много), открыл кран, но зачем-то сел на табурет, заваленный грязным бельем, и, ничего не помня ни о себе, ни о чем, ни о ком -- смотрел на струйку воды...

Когда, все-таки, оmyв голову, я вышел из ванной -- за окном слабо-слабо светало. Стояла почти абсолютная последождевая тишина. Не раздеваясь, я лег на диван, и в редющей темноте лежал, глядя в

потолок. И слышал как оседает в грунте этот столетний дом, и слышал крик касатки. Но то была не касатка. Первый трамвай, наверное, где-то у Пресни, на скорости огибал «кольцо»...

И если бы кто накануне сказал мне о том, что в редакции будет пожар (в кабинете редактора, разойдясь после получения очередного сигнального номера, забыли выключить телевизор. Впрочем, ущерб от пожара был мизерным. Попортились стены, мебель, да сгорели бумаги в редакторском столе. То есть моя книга. А рукописные черновики каждого фрагмента, чтобы не затерялись, я прищипливал английскими булавками к машинописным их вариантам.) -- то, наверное, после эффекта «свинчатки» я бы отдал концы в подъезде. «Курий глаз» я нашел на лестнице, выйдя под вечер в аптеку за стрептоцидом. В буднично-предвечернем свете -- камень лежал рядом с засохшей, запыленной бурой лужицей.

64

... Все такое же, но чуть другое. Ибо это -- Будущее. Чуть-чуть другие конфигурации автомобилей, рекламных щитов, кафетерийных тентов, на чьих дюралевых каркасах блестят капли только что (без четверти семь вечера -- по местному времени) начавшегося и отшумевшего дождя, третьего или четвертого с утра этого затерянного в лете понедельника. С сегодняшних дней прошло не так уж и много лет, но все стало удивленно-спокойнее и просторней, словно обещание сбылось и все куда-то пропали, разошлись с улиц, отдаленно томимых соблазном нового ожидания...

Этот босой и светловолосый, фотографирующий раковины моллюсков, разложив их на капоте такси (пока сапожник под брезентовым навесом чинит расслоившиеся штиблеты), так вот, этот светловолосый в белой парусинной куртке поверх полосатой майки, в джинсовых шортах -- это, кажется, Александр. Асфальт улицы, видимо, совсем новый и ходить босыми ногами по нему, гладкому, мокрому и прохладному, отражающему в перламутровых от бензина лужицах чисто-пепельное небо, -- приятно, немного знобко (особенно после того как излишне много загорал, купался).

Сапожник заклеивает штиблету, на его предплечье видна выцветшая татуировка -- инициалы, фамилия, порядковый номер.

Чтобы снять раковины на фоне отдаленно-грозовых облаков над заливом (белые коконы туч, формирующихся из блеклой надгоризонтной лазури), Александр переложил раковины на крышу такси. Поднимая упавшую, увидел в асфальте, как в зеркале, окруженного небесным дымом себя. И, глядя в свое отражение, почувствовал некую странность, которую можно было бы выразить приблизительно так: «Это -- я. Я, среди именно этого дня и пространства»... Необычное, умиротворенное, и почти неуютное чувство. Этим чувством, этой растерянностью перед безбрежностью жизни, полна, наверное, каждая юность. Когда-то, когда шло кровопролитие, Александру, тогда еще почти что подростку, верилось, что если ему придется умирать, то это будет какое-то место со странным, отрешенным пейзажем, исполненным сокровенного непостижного смысла. И тогда же, по мере надвигания опасности, он замороженно видел как обычные ландшафты -- будь то выбитое поле с далекою цепью холмов, на которые с неба падал конус предвечернего солнца, или пригородная мутная речонка с захудалыми постройками лодочных станций по берегам -- преображались, наполняясь неземной значимостью. Эти пейзажи реальности были фантастичнее, чем воображаемый некогда авиалайнер, застрявший в зыбучем песке, закидываемый в рассветных фиолетовых сумерках самодельными зажигательными снарядами. Фантастичнее катастрофы на химконцерне в ослепительно-солнечный день без единого облака в дрожащем голубом небе.

... Через несколько минут после того как отъехали от сапожника (фотоаппарат и целлофаный пакет со штиблетами брошены на заднее сиденье) разразилась ливень с грозой. Остро и свежо запахло листвой деревьев, землю -- проезжали широко раскинувшийся больничный парк. Шоссе было свободным, каскады воды рушились на город, море сокрыл водяной дым. Большая часть вечера и немалая часть лета -- ожидали впереди.

Когда ж подъезжали к «китайскому» кварталу (лабиринты проходных дворов, закопченные старые стены, неожиданно

открывающийся вид на пустой солярий и спортивную площадку у моря) -- небо стремительно очищалось. Бело-алые лохмотья облаков, тая, неслись над головой, словно там, в потоке синевы, только что проплыл корабль-госпиталь. На верхнем этаже двухэтажного дома с полуразрушенными временем каменными грифонами на углах плоской крыши, в ателье у приятеля Александра - - спала обнаженная натурщица. Разметавшись, она лежала на ворохе смятых простынь. На нее, сквозь покрытый тонким плексигласом проем в потолке, лился ровный пурпурный свет. В помещении -- вне этого светового столба -- было сумрачно. Ветер гудел и вибрировал высоко в небе. Александр с минуту смотрел на спящую. Потом, подумав, что она прекрасна как неживая, вдруг обеспокоясь, подошел к ней... Ее грудь равномерно вздымалась. Александр посмотрел вверх -- небо было полностью чистым, реяла большая морская птица, иногда снижаясь настолько, что можно было разглядеть оперение, взъерошиваемое ветром. Натурщица что-то пробормотала во сне и Александр отошел от нее, чтобы она не испугалась если проснется. Глядя на нее, но думая о прошлом, он неторопливо попивал холодный, слабо подслащенный чай, сидя в ветхом удобном кресле. Прошлое представлялось в виде уходящего вдаль по плитам набережной, закиданной пожухлой от жаркой осени листвой, собственного силуэта. И этот осенний мир с силуэтом в конце перспективы был заключен в голубую плаценту, находящуюся то ли в воде, то ли в воздухе неба, населенного бесплотными серафимами с голосами рэгги-квинтета, бесстрастно-минорными, испитыми, райскими... Прошлое было солнечно-пылевым вихрем урагана, шествующего по побережью, переворачивая шлюпки и автокары, жонглируя в небе нестерпимо сверкающими листьями кровельного цинка, и, наконец, перекочевывающего на изумрудные водяные холмы, оседланные мчащейся -- на них, по ним -- стайкой серфингистов маньяков. Вихрь урагана, на который смотришь в состоянии почти абстрактной влюбленности... Прошлое, загадочно улыбающееся и непредсказуемое, как вот эта -- спящая теперь в каскаде небесного пурпура -- впервые пробующая марихуанную сигаретку в тишайший, застенчиво морозящий денек...

Мы с матерью стояли в родильном доме у окна. За окном были видны поросшие обнажившимся лесом сопки, небо, да море, спокойное, но сверху представавшее вспененным, серым. День был бессолнечным, тихим. Я объяснил, как ударился головой, поскользнувшись в подъезде. Все уже обошлось, повязку надо просто отмочить в теплой воде. Приду домой -- отец или Настя помогут. Наложим пластырь.

- Ты разве еще не был дома?

- Нет. Я встретил Вадика Дубодела, он видел утром отца. Отец ему сказал, что ты здесь.

(Я встретил Вадика на набережной. Он был необыкновенно грустный. Мы посидели в «открытом» павильоне. Море плескалось о парапет. Пахло солью и водорослями и палой листвой. Свежий и немного зябкий запах. Мы сидели за столиком у парапета, смотрели как вдалеке, над морем, кружит вертолет. Иногда чокались бокалами, над которыми происходили крохотные фейерверки мельчайших брызг газа сухого шампанского, холодного, слабо-душистого. Чокались, и тогда Вадик улыбался, и от этого казался еще грустнее. Пригубляли вино, ставили бокалы на парапет. Вертолет таял в просторе.)

В другом конце коридора гулко хлопали двери, звенела посуда на тележке. Я ел яблоко, принесенное матерью из палаты и вспомнил как двадцать лет назад, на этом же месте, она угощала меня шоколадом. Она была беременна Анастасией. Я сказал об этом и мать засмеялась.

- Теперь старше меня в палате нет никого. Одна старуха.

- Не старуха. Наоборот.

Когда я вышел на улицу -- накрапывал мелкий дождь, но сквозь деревья перелеска было видно, что над морем облачность тончает, светлеет, незаметно переходя в вымыто-голубой тон. Бредя по колону в листве, я спускался к берегу по пологому склону. По роще стлался дым костра, горьковато и как-то щемяще пахло каким-то варевом. Проходя совсем близко от цыганского становища, я

замедлил шаг: две брезентовых палатки, бородатый мужик, развалившийся у костра, плачущий ребенок, голый, едва умеющий стоять на ногах (ступил шаг-другой, споткнулся, девчонка-подросток подхватила его), грязная белая собака, что, помахивая хвостом, апатично поглядела на меня, медведь-гризли на цепи у дерева, урча выедающий что-то из порожней консервной банки, шерсть словно трачена молью... Дым костра то восходил вверх прямым и длинным желтоватым столбом, то широко распластываясь, стлался по-над землей. От дыма щипало в глазах, они слезились. Одна из веток больно задела по голове. Я тронул повязку -- крови на пальцах не было. Я ускорял шаг, иногда просто-напросто съезжал на невесомой лаве листвы. Скатывался под гору, швыряя вверх охапки листьев. Небо, черные стволы деревьев, море, -- все перемешивалось, вращаясь. Запыхавшийся, -- я ступил на берег.

... Это было То самое место. Бухта Тихая (хотя я приблизительно знал, что роддом находится где-то в этой стороне окраины). Вспомнилось о сгоревшей книге, но и от этого боли не было(... сам я ее прочел, и голова от нее закружилась как в юности...). Боли не было. Что-то другое, похожее на нее. Я шел по берегу, глядя в море. (Там, на островах, где я столько времени не бывал, -- на покрытых буйно увядающим лесом холмах пасутся пятнистые олени. Пугливые и стремительные, они переступают с камня на камень отвесных, подтачиваемых вечным прибоем скал, заглядывая в амбразуры дзотов русско-японской войны и в провалы стен древней обсерватории. Там начинаются нейтральные воды, и радары качающихся на волнах линкоров вальсируют в ослепительном октябрьском небе, и над головою прощально стрекочут, уплывая, воздушные корабли спасательных служб. Там карманный транзистор не ловит ничего кроме музыки из Гонолулу. Там себе снишься только поющим.) Дождь припустил, но небо над горизонтом стало лишь более прозрачным. Такая же аквамаринная даль, быть может, в эту ж минуту, расстилается перед караваном, в одной из переметных сумок которого -- камень с оттиском на фарси, камень, обогатившийся историей Казика, камень, помнящий и меня... Я сунул руку в подкладку пальто, нашарил там «курий глаз», и, поравнявшись с

исписанной углями кострищ, скалой, и смятым автофургоном, затопленным приливом, размахнулся и запустил окатыш далеко в море, дождь над которым состоял из бриллиантов, из апельсинов, из умирающих птиц.

66

... Хотя им и надоело дрейфовать -- который день -- по течению воздушной реки, но это было куда веселей, чем приземлившись, оказаться на месте назначения. В тот день, безветренный и пасмурно-стылый, когда их, покинувших самолет последними, подхватил небесный поток и повлачил платформу, платформу, обложенную со всех сторон мешками с песком, в полтора милях над земной поверхностью, а вся мириада белых куполов растаяла где-то внизу (лишь этот, один, еле слышно, забвенно гудя, неизменно пребывал над головами) -- в сумерках они выпустили в небо несколько сигнальных ракет, что осветили дрожащим светом ровный и плотный облачный слой, мелко кучерявящийся, как им казалось, буквально под ними...

Они влачили на восток -- все время над континентом. Над континентом, и, поэтому, в один из полдней, бессолнечный, но и не пасмурный, были слегка удивлены, увидя, что окружены серебристой стайкой летучих рыб, уже задохнувшихся в воздухе небесного Куросиво.

На Земле царила ранняя весна, было слякотно и промозгло, но здесь, в небе, было тепло настолько, что пар дыхания виделся едва-едва. Давно не мытые тела зудились от потепления воздушной температуры. Развалясь на мешках своего «гнезда», все трое, покуривая, разжевывая замусоленные сухарные крохи -- почесывались. Но насекомых во швах несвежего нательного белья, как ни странно, почти не было (Бог весть откуда -- на третий или четвертый день полета -- появилась улитка, обычная, садовая, прилепившаяся к стальной прохладе ствола крупнокалиберного пулемета). По-над горизонтами Земли клубились облака (лиловатые айсберги, белые кашалоты, пурпурная конница скифов), а сама она покоилась внизу

иззелено-желтая, мутная, вспененная, словно гейзерная долина, бескрайняя и небывалая...

Одному из троих этот воздушный поток, само его плавное мощное влечение, его влажный и пьяняще-свежий, какой-то послеболезненный эфир -- напоминали вечернюю улицу большого города. На которую ступишь -- и как будто плывешь в людском течении. Пахнет мокрым асфальтом, бензином и парфюмерией. В еще не совсем смеркшем небе сияет молодая Луна. В толпе то и дело -- песни, гитары (кто-то чиркнет зажигалкой и в такт размахивает ею, горячей над головой), чей-то плач. (Днем в сводке «Новостей» передавали, что такой-то певец покончил с собой.)

И эти одинокие звуки рыданий почему-то наводят на мысль, что еще только начало апреля, впереди май, а за ним -- лето. И при этом такое чувство (не поймешь, то ли радостное, то ли томительное), будто позабыл о чем-то счастливом и никак не вспомнишь, но знаешь, что оно никуда не ушло. Оно с тобой...

67

А в городе было ветрено. Трясаясь в трамвае, я видел в заднее окно, как крыло дождевой тучи, пролившейся над Тихой, истаивает в небе. Когда я на окраине сел в трамвай -- стекла были в прозрачных дождевых каплях, и, по мере приближения к центру, эти капли от пыли становились мутными, серыми.

Я сошел на Политехнической, и, покуда шел к фуникулеру мимо музея-фортеции -- сощуривал глаза, закрывал лицо ладонью от пыли остро впивавшейся в лицо. Было слышно как прах звонко, мелко и дробно осыпает металл музейных орудий и фортеционного колокола. По пустой площадке форта кружился вихорь. Вокруг было малоллюдно. Да и то -- люди виделись в отдалении и как бы частями: кто-то впрыгнул в отходящий трамвай, кто-то, закрывая окно, исчез. Грохот удаляющегося трамвая затихал и вдруг приблизился, где-то хлопнула дверь, залаяла собака, смех оборвался и потом возник, затихая. Звуки, верно, с той стороны холма, слышались как сокровенный близкий шепот мира. Подъезжал фуникулер, тормоза, визжа, заскрежетали и этот скрежет взмыл в белое небо и неспешно

там истончал и истаял. На крохотном перроне, мальчишка, балуясь, дул в пустую лимонадную бутылку, приставлял ее к губам так, эдак. И задумчивое, остраненно-радостное звучание полого стеклянного объема, похожее на музыку перуанских флейт -- в акустической метаморфозе ветреного дня проплыло мимо, и, резко, зигзагами, ускользнуло ввысь и вдаль, оставив почти зримое, даже осязаемое чувство его траектории...

Несколько пассажиров вышли, несколько -- я в их числе -- зашли. Двери вагона бесшумно затворились, он плавно стронулся и по наклонным рельсам поплыл вверх. Внизу кружились, метались кроны деревьев, развевалось белье в ближних дворах, покачивались провода. По близким (рядом с полотном фуникулера) каменным полуистертым ступенькам шли две девушки, они смеялись, закрываясь руками от пылевого ветра. Открылся вид на площадь, на виадук, старый квартал, пляж, солярий. Город, заметаемый пылью, оказался меньше, чем он был в моей памяти. И только море, туманное, голубое, водно-задымленное, было -- тем же. Безмолвно и пронзительно тем же...

Я поймал себя на том, что что-то себе напеваю (мотив, верней, его обрывок, всего четыре ноты, возник, когда я, закрывая лицо отвернутым воротником пальто, шел через трамвайные пути к лестнице, ведущей к форту). На пути от станции фуникулера к дому мне из-за ветра приходилось идти спиной вперед, и, отворачиваясь, я видел как волны песка перемещаются над городом и портом в бессолнечном и блекло синевеющем, неопределенно высоком небе... Я отомкнул дверь взятым у матери ключом и вошел в дом. Стало тихо, ветер гудел за стенами. Слышалось как на кухне капает вода в раковину умывальника. Я съел яйцо вкрутую и кусок черного тминного хлеба и выпил стакан едва теплого чая. На столе лежала записка, оставленная Настей отцу -- «суп в холодильнике приду вечером». Перекусив, я снял пальто, разулся, стянул носки. Коснувшись босыми ногами древесной прохлады половиц -- ощутил как горят натруженные за этот день ступни. Я прошелся по комнатам, подошел к пианино. Подобрал -- одним пальцем -- мотив. Фраза в четыре ноты сама собою развилась в несколько тактов мелодии.

Потом я сидел у окна, в которое позвякивала пыль, и глядел как качались садовые деревья и кустарник на долгом-долгом, спускающемся к берегу залива, холме. И пил кипяченую, чуть пахнущую ржавчиной, воду из чайника, и прислушивался к возрастающему во мне мотиву, в чьем звучании все видимое, представляя сверхреальным, сбывалось и наставало. И думал: как же так получилось, что образы книги сгорели и восстали из пепла этим недлинным мотивом... И был благодарен огню.

День за днем я незаметно превращался в слова своей книги, -- для того, чтобы встретиться с пламенем, чище которого в Поднебесной, наверное, нет ничего. Встретиться и стать мотивом. Песней, долетающей издалека на ветру, взволновывая чью-нибудь юность смуту ожидания. Я пел -- и сам был юным. И шел по белому-белому песку пляжа, усеянного в американо-вьетнамскую кампанию шариковыми минами. По песку пляжа, что был некогда респектабельнее Флориды. От белизны песка и купоросной лазури моря -- резало глаза и воздух дрожал и стояла штилевая тишина, в которой слышалось мое дыхание, и дыхание песка, и дыхание моря, и неба. И я не понимал: что же за мучительное ожидание томит душу...

А это, нашептывая мотив, осознавал я, было вовсе не ожидание. Обладая счастьем в чистом, беспримесном его виде, я и не догадывался до сего дня о своем сокровище...

Я тихо-тихо, слыша как тлеет в пальцах сигарета, напевал -- и -- Вика Яновская загорала обнаженной в солнечном и завораживающе-облачном небе на крыле «черного тюльпана», летящего из басурманской земли к Великому Океану. Ореолы пропеллеров искрились и крыло было покрыто тонким слоем инея. Иней таял и водным контуром обрисовывал все тело -- от пальцев ног до разметавшихся огненно-рыжих волос. Она ровно дышала и прикрытые веки подрагивали, потому что ни разреженный убийственный эфир, ни антарктическая температура не действуют на окруженных плацентой моей памяти. Я тихо, без единого слова, пел, и видел как она -- в ауре красоты, ветра и близорукости -- идет мне навстречу мартовским днем, и городской рассеянный туман змеится по пентаграммам асфальта, и над нею порхает, кружится, трепещет оранжевая бабочка, та самая, что порхала над нею во время

искусственного дыхания (один раз бабочка спустилась к самому лицу -- и спасатель, весь в поту, хрипло прошептал «пульс, пульс появился». Но когда я понял **что** это за бабочка -- она поднялась так высоко над берегом последнего августовского дня, над берегом, на который накатывали большие изумрудные волны, что поймать ее было уже невозможно.)...

Пел -- и восставали ужасы на шоссе близ Камрани, но я почему-то знал, что я и Сема и вьетнамский старик -- благополучно минуем это место. И мы доехали до этой речонки, ледяной от подземных ключей, и плавали с Семой под водой, собирая налипшие на камни мелкие листья растения, содержащего обезболивающее вещество. И небо было дымным и тропический воздух обжигает горячим, и, проплывая на спине под каменной перемычкой, соединяющей (в метре над водой) два белых пальцеобразных камня, высившихся над серединою речного русла, я увидел, что перемычка -- это есть окаменелая черепашка, зажатая скальными осколками землетрясения, быть может, миллионы и миллионы лет назад. И подумал, глядя в темно-белое удушливое небо: почему я так люблю свободу?..

Начинал мотив сызнава -- и -- в море, в задумчивый и вдохновенно-бесстрастный день вздымалась спина, плавник Левиафана, и его фонтаны сметались, рассеивались ветром. Мы с Александром и Гошей следили за китом в двенадцатикратный бинокль с глинистого обрыва, поросшего красной смородиной, что прозрачно рдела ягодами на фоне серого океанского полотна. А неподалеку. По-над берегом, глянецито отражая стеклами небо, пребывали панельные пятиэтажки островного поселка: продмаг, парикмахерская, магазин уцененных товаров.

Я чувствовал, напевая, и ту же горечь, какую испытывал, глядя по вечерам на огни леспромхозов, мерцающие среди тьмы заснеженной тайги, и ту же радость, что и в детстве, когда в теплый и ветреный летний день кружишься на одном месте, закрыв глаза (чтобы потерять чувство ориентации, чувство пространства, чувство себя), и падаешь в траву луга, и открываешь глаза, и, лежа, смотришь в небо, вертишь головой во все стороны света, и определяешь в какой стороне море -- по облакам, по их необыкновенности, что ли. Солнце

то выглядывает, то прячется, плывут тени. Встаешь -- так и есть. Вон оно -- море... Беспечальное, оно поглотит когда-нибудь, покроет своим прозрачным вольфрамом и дымящиеся поля бойни вместе с похоронными командами, и авианосцы вместе с капелланами и мегафонами. И над безмятежно-ликующей аквамаринной равниной будет блуждать азбука Морзе из Кобэ или Гуантанамо, и навстречу тебе будет приближаться кто-то надежный и радостный. Разглядывающий, идя по волнам, обрывки подобранных с воды обгорелых писем, нот, и какой-то ландшафт -- образ мира, заснятый на «polaroid»...

И покуда я, припоминая нотную грамоту, записывал мотив (расчертив стан на обороте настиной -- отцу записки) -- ветер, унеся облака, поутих. И тусклое пурпурное солнце зыбилось во все еще пропыленном небе над летаргичной амальгамой залива... Мне послышалось мое имя, потом имя сестры -- за окном, где-то в саду, потом скрипнула входная дверь. Я обернулся. В дверном проеме стоял Тимоха. Это был он, хотя я видел только его силуэт -- он стоял против света, на фоне волнующейся полыни на залитом закатом холме.

-- Здравствуй.

... В те несколько минут, что я суетно возился на кухне («я пока переоденусь в форму», -- сказал Тимоха, -- «я хочу к матери в форме прийти») -- он уснул в кресле. Я негромко окликнул его, он что-то пробормотал во сне, и, заворочавшись, лишь устроился удобнее. Вещмешок так и лежал, завязанным на полу.

Я вышел из дому. Постоял на крыльце. Потом я собирал палые листья садовых деревьев в один ворох. Я размеренно работал граблями, и, после каждого движения, взору открывалась скудная пористая земля. Мелкие коренья... личинки... осколки улиточных раковин... Я, как зачарованный, смотрел на землю. И, когда я понял, о чем она старается напомнить мне -- пошел за лопатой к садовому сараю.

... Я стоял по колена в вырытой яме, и осторожно, руками, доставал землю с ее дна. Нащупав кусок сырого брезента, я за края, вместе с остатками земли, поднял его наверх. Потом извлек все бутылки и положил их на свежевырытую землю. Все, кроме одной, из

черного стекла, перенес в дом. Их даже не нужно было отирать. Холодные и весомые, они были такими же чистыми как и в день их погребения. На кухне я взял из ящика стола нож, чтобы откупорить бутылку, и достал из буфета винный бокал. Засыпав, заровняв яму, я смотрел на поставленные на садовую скамью черную бутылку и бокал с вином, вбиравшие в себя пурпур вечернего солнца. Поднял с травы под скамьей яблоко, немного подмороженное, клеванное птицами. Сделал глоток вина. Ослабшим ветром покачивало верхи фруктовых деревьев. Вино набрало свой возраст, крепость и терпкость. Сохранило слабый ранетный привкус.

[Город Творцов](#)